



ЮНОСТЬ



9 770132 203600

№9/2020

16+

9



СЕРГЕЙ
КУБРИН,
СТР. 23

ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправлений:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Анна Гедымин
Сергей Гловюк
Борис Евсеев
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Ностров
Нина Краснова
Татьяна Нузовлева
Евгений Лесин
Юрий Полянов
Георгий Пряхин
Елена Сазанович
Александр Соколов
Борис Тарасов
Елена Тахо-Годи
Игорь Шайтанов

Реданция не имеет
возможности вести
переписку с авторами.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут
ответственность
за достоверность
предоставленных
материалов.
Мнения автора
и редакции могут
не совпадать.
При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Юность»
обязательна

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов
Вячеслав Ионовалов
Яна Нухлиева
Евгений Сафронов
Татьяна Соловьева
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР
Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАНЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА
Наталья Горяченнова
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Антон Шипицин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз.
Формат: 60x84/8
Заназ №

«ЮНОСТЬ»
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок Марины Павликовской
«Таврида»

4 АЛЕНА РАКИТИНА

ПОЭЗИЯ

8 ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА

10 ПОЛИНА КОРИЦНАЯ

13 ИГОРЬ НИКОЛЬСКИЙ

14 НСЕНИЯ САВИНА

16 МАРИНА КРУТОВА

18 АЛЕНА СИНИЦА

ПРОЗА

22 ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН

23 СЕРГЕЙ КУБРИН
МОЛОДАЯ ЖЕНА

25 НАТАЛЬЯ ЛИСИНА
ЗАГАДКА ПАРКА

28 МИХАИЛ БУТОВ

29 ГЕННАДИЙ ДАВЫДОВ
САША

42 БОГДАНА КУВШИНОВА
ЗВЕЗДА ДЛЯ ЖАНА

48 ОЛЬГА НОВИКОВА

49 ГЕОРГИЙ ПАНКРАТОВ
БУХТА

51 МАРИЯ ГУРОВА
КЛУБ ЛЮБИМЫХ ДОЧЕР

53 ИРИНА МИХАЙЛОВА
ГОЛОС

55 ЕКАТЕРИНА МАТЮШНИНА

56 ЕКАТЕРИНА ЖАРНОВА
ДЕНЬ СИ

60 ДАРЬЯ УЛЬЯНОВА
МЫШКА

ЗОИЛ

66 АНДРЕЙ РУДАЛЕВ
МАНИФЕСТ СЕВЕРА

76 ЕГОР АППОЛОНОВ

77 ПОЛИНА НАРПОВИЧ
«УЖАС — СНАРУЖИ, СПАСЕНИЕ — ВНУТРИ»

80 МАРИЯ ЛЕБЕДЕВА
ТАКИЕ, КАК ВСЕ

82 МАРИЯ РЫЛЕЕВА
«ТАЙНЫЕ ВИДЫ НА ГОРУ ФУДЗИ»

84 ДАРЬЯ СВИТАЙЛО
НАЖДЫЙ СОЗДАЕТ СВОЙ МИР САМ

НАША ПОБЕДА

88 GERMAN САДУЛАЕВ
НОШКИН

97 АННА МАТВЕЕВА
САМАЯ НЕВОЕННАЯ КНИГА
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

99 ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
ДАЛЕНО НА ВОСТОКЕ,
ИЛИ КРЕЩЕННЫЙ ХАЛХИН-ГОЛОМ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

104 ЕГОР АППОЛОНОВ
ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ВОДЕННИКОВЫМ



АЛЕНА РАНИТИНА

Родилась в 1990 году в Москве. Окончила Московский государственный лингвистический университет, переводческий факультет (нафабра итальянского языка). Нуратор литературного направления в Арт-кластере «Таврида». Финалист литературной премии «Лицей» имени А. С. Пушкина (2017).

Флешбэк.

Все началось летом 2015-го.

Тогда еще никто не предполагал, во что это все вырастет.

Очередной форум. Правда, в Крыму. Лето, солнце, море. Большинство привлекало именно это. Да еще перелет, проживание, питание — все, как говорится, включено. Крайне заманчиво. Не скрою, подкупило это и меня. В том далеком 2015-м я приехала на «Тавриду» обычным участником. Приехала без особых ожиданий. Ну что меня, скептика и циника, могло там удивить, чего мы там не видели?

Есть такие места, в которые попадаешь и понимаешь, что все. Ты там, где должен быть. Дома. На своем месте. Так вышло и у меня. Как? Почему? В чем оказалась особая магия «Тавриды»? Не знаю, не могу объяснить. Просто понимаешь, что это — ТВОЕ. И ничто другое заменить его не может, это будет подделка, суррогат, не взаправду. Понять, сложится с «Тавридой» или нет, очень легко. Нужно просто приехать один раз и увидеть, прочувствовать это место, его энергетику, людей, собирающихся там. Это как любовь с первого взгляда. Все моментально встанет на свои места при первой же встрече. Да или нет. Да.

Как сейчас помню: торжественное закрытие литературной смены. Я стояла где-то позади толпы, далеко от сцены, всем участникам раздали воздушные шары со светящимися светодиодами внутри, чтобы все их одновременно отпустили в небо, загадав желание. В какой-то момент черное крымское небо замерцало сотнями огней.

Несложно догадаться, что я тогда загадала.

Для меня «Таврида» — это не просто место силы, второй дом, но и невероятная команда людей, влюбленных в свое дело. Каждый из которых верит в то, что делает. По-честному, без фальши. От всего сердца. А еще — это место, где действительно собираются лучшие молодые творцы со всей страны и совершенно невероятные, харизматичные спинеры и преподаватели. Это место, куда можно приехать скептиком и циником, а вернуться — вдохновленным энтузиастом и романтиком с кучей контактов в записной книжке и проектов в голове.

Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

ПОЭЗИЯ



ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА
Заведующая отделом поэзии
журнала «Знамя».

Пейзаж, снятый мной с порога деревянного коттеджа, когда я утром, после ночлега, отдернула штору и распахнула стеклянную дверь, был ошеломителен. Надо же улететь из скучной осенней Москвы, долго-предолго пилить по ночной трассе от Симферополя, сквозь дикие пробки, вымотаться за долгий путь, уснуть и, очнувшись от ночи, увидеть именно чудо. Рыжая, почти марсианская земля сухого Крыма, серые, сизые горы вдали и взблескивающее сталью море в бухте Напсель, близ Судана, и эти быстрые облака с розовым отливом: за горами, из моря, вставало солнце. И так радостно было помнить, что сбоку находится мыс Меганом, а напротив него, через бухту, — Новый Свет, а где-то там выше нас, за Меганомом, Щebetовна, Нонтебель, Феодосия, все навени родное и любимое, а уж дальше, через бухту, за Суданом, великолепная Алушта, а там, на самом юге полуострова, золотая, в кипарисах и олеандрах, амфитеатром поднимается в гору Ялта... (Да, мы прибыли из Москвы, небольшой десант руководителей творческих семинаров, для заключительной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» с 30 сентября по 5 октября 2019 года в Крыму, близ Судана, в бухте Напсель.)

Через час я увидела вблизи, что кажущийся издалека белым человек, сидящий на холме, — это арт-объект, и на самом деле он весь сквозной, сидит себе, отдыхает, уронив руки между коленями, но сквозь него, сплетенного из мелких жестких белых металлических ромбов и треугольников, можно смотреть на блаженно-сияющее море. Сейчас Сквозной Человек сидит на холме в медицинской маске (!).

За пять почти дней нашего ослепительно счастья я узнала, какая удивительная, невиданная прежде молодая Республика творчества и труда расцвела здесь, на прежде пустом дином побережье урочища Напсель. Да, тут все равны, все ходят в одинаковых футболках, едят одинаковую пищу из пластиковой посуды, строем бегут на рассвете на зарядку, торопятся на йогу, прибирают территорию, чистят, красят, высаживают растения, ухаживают за ними. В просторных стеклянных ангарах с кондиционерами читаются лекции, проводятся мастер-классы, защищаются проекты, их победители получают денежные гранты на поддержку своих творческих замыслов. Там рисуют, лепят, танцуют, монтируют видеоклипы, которым несть числа... В демократичной социальной сети «ВКонтакте» я смогла через время рассмотреть эти ролики полетов воздушных змеев над бухтой, бешеных плясок, общих танцев, праздничных костров, ночных концертов на эстраде над морем... Общее счастье этого легкого, праздничного бытия на морском воздухе, то под шелест волн, то под удары штормов Черного моря, хмелило пуще вина (оно тут под запретом!). Крайне заинтересованных и активных подписчиков этого канала «Арт-кластер "Таврида"» оказалось без малого 80 тысяч. Для сравнения: Воздушно-десантные войска — отдельный род войск Вооруженных сил Российской Федерации — имеют численность 45 тысяч человек.

В составе нашего немаленького мастер-класса поэзии №9 оказались люди высокоученые, молодым господам не нужно было рассказывать о русском Серебряном веке, они прекрасно ориентировались во всем, почти каждый имел по несколько высших образований, иные вообще были диновинными специалистами на работах, недоступных моему пониманию... А интересы и занятия у них, выяснилось, вот какие. Полина Корицкая: «Изучала литературное творчество в Литературном институте имени А.М. Горького, посещала его с 2003 до 2011 год. Мама — писатель, педагог, вокалист, редактор-сценарист, мастер пленочного витража. Интересы:

музыка, блюз, джаз, рок-н-ролл, сансофон, гармошка, гитара, поэзия, лирика, проза, сказки, песни, вокал, фламенко, фолк, живопись, витраж, куклы, батик, вышивки, лошади, Томск, Москва, дети, время, ангелы, дороги, книги, издательства, детское творчество, язык...»

Или вот Игорь Никольский: «Перевожу с английского, пишу. Интересы: технические переводы, поэзия, музыка, история, реконструкция WW2, 3D-печать, физика, покер, оружие, тоталитарные идеологии, религии, соционика, психософия, эзотерика, фалеристика. Любимая музыка: метал, классика, джаз». (Да, Игорь еще и превосходно поет под гитару свои песни. Нам он пел на мастер-классе.)

А, например, самая активная, тщательно и профессионально разбирающая на мастер-классе каждое чужое стихотворение Нсения Савина родилась в 1992 году в Санкт-Петербурге, выпускница философского факультета СПбГУ и одноименного факультета РХГА. Религиовед, окончила аспирантуру ЛГУ имени Пушкина по направлению «Философия религии и религиоведение». Занимается теорией и практикой стихосложения в верлибре.

Самая юная, очень интересная Алена Саница все казалась мне маленькой девочкой, пока я не взглянула на ее биографию: там была какая-то огромная череда наград и премий... Но сама Алена была молчалива и сдержанна, однажды мы вышли с ней после занятий, ну, думаю, хоть поговорим теперь на воздухе. Но неприступная Алена шла молча, смотрела прямо перед собой на закат за горой и думала какие-то свои свободные и вольные думы. Сейчас я узнала, что, отучившись в Москве, в Московском государственном областном университете, Алена занимается уже в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Да, это у них, как на подбор легких, красивых, молодых, — общее: не тратить время попусту, учиться, пока есть хоть малейшая возможность, работать, порой на нескольких работах, создавать семью, растить и учить детей, как, например, Марина Крутова (Нулинич) из Твери — она автор трех книг стихов. Врач по образованию. Предприниматель. Замужем, воспитывает двух детей. Училась в Тверском государственном медицинском университете.

Здесь, на «Тавриде», все эти молодые стихотворцы оказались не просто так: они подали заблаговременно заявку, прошли экспертную комиссию (причем возраст участника не должен превышать 35 лет). Они выбирают по себе смену, с 1 апреля по 10 октября, и живут, творят, работают, радуются морю, близкому им, родному народу, под крылом благородной миссии платформы «Таврида», Форума молодых деятелей культуры и искусств... Чтобы в конце концов, например, выйти со стихами на страницы знаменитого столичного журнала «Юность». Ради этого стоит перетерпеть всю зимнюю тоску по «Тавриде» и вспомнить, как, уезжая со смены, горестно запихивал, в рюкзак ли, в чемодан ли, ворох этих разноцветных фирменных футболок, подарков «Тавриды», и каждая футболка оглушительно пахла морским ветром и Черным морем.



ПОЛИНА НОРИЦКАЯ
Родилась в 1986 году
в городе Томске. Ученица
А.И. Назанцева. Выпускник
Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького.
Автор стихов, прозы, песен.
Лауреат поэтического
конкурса им. М. Орлова.
Финалист и победитель
пятого всероссийского
фестиваля молодой поэзии
имени Леонида Филатова
«Филатов-Фест». Член СП
Москвы. Живет в Москве.

ПРО ОЛЕГА

Когда я уйду с работы,
Отметивши факт сего,
Захочется вдруг чего-то
Живого и своего...

...Поеду в Мытищи к Олегу!
С ним вместе гулять пойду.
Пройдемся по рыхлому снегу,
Последнему в этом году.

Мы выпьем с ним газировки,
А завтра – придет весна.
Вернется с командировки
Олеговская жена.

И пряча в кошелке тыщи
Магнитиков и саше,
Ворвется в свое Мытище,
Прогонит меня взашей.

А я, не в обиде вовсе,
Смотрю, как в пяти шагах,
Гуляют большие лоси
На длинных своих ногах.

ПРОФИЛАКТИКА

Забулькала четвертая кастрюлька,
Сниму ее с огня и отнесу
Туда, где бестолковую сосулькой
Кран молча отражается в тазу,
Как веточка в малиновом пруду.

И я к тебе помыться не приду,
Нет, я к тебе помыться не приду,
Ведь у тебя арестовали воду,
Как сломанное дерево в саду,
Цветок запретный в центре огорода.

И мы пойдем по улицам гулять,
Среди деревьев с непомытой кроной,
В тени деревьев я поправлю прядь,
Взметнувшуюся к небу, как корону,
И стану тебя в губы целовать.

Я стану тебя в губы целовать
И волосы немые ерошить,
В земного шара влажную кровать
Улягутся события из прошлого,
И мы ее не будем ворошить.

Мы будем дальше потихоньку жить,
Сажать цветы по стульям огорода,
Да в чашечке кофейной воровать.
Но чашечки коленные сложить
Сюда вернемся в середине года.

Когда вдруг распогодится погода
И Богу нам захочется служить,
Нам Бог откроет кран и пустит воду,
И пусть она по городу бежит,
Спонтанно огибая гаражи.

Нам будет неприлично хорошо,
Когда мы будем спинами друг к другу
Стоять под перевернутым ковшом
Большим, а после Малым,
Так по кругу.

А помнишь, когда не было воды
Горячей в кране, были только руки
Горячими, и крошками слюды
Блестели капли ледяной воды,
Дрожа
в испуге.

* * *

Я потеряла вчера в промзоне
Свой кошелек.
Он из кармана комбинезона
На землю лег.

Я, обнаружив свою потерю,
Была так зла.
Домой вернулась, врубила телик
И вдруг сползла:

С моей промзоны вперед ногами
Несли людей...
Спасибо, Боже, что взял деньгами,
Теперь – налей.

И был звонок мне, явленье брата
И трех шалав.
Одна как будто из шоколада,
А две – из трав.

Они шатались и пахли так же –
Две конопели.
А негритянка наречьем вражьем
Чего-то пела...

...Их выдворяя, лишалась крови,
Был стук и гром...
Спасибо, Боже, что взял здоровьем,
Оставил дом.

Устало села – без настроенья
И с синяками.
Бороться трудно с фальшивым пеньем
И сорняками.

Неужто будет, без одобренья,
Мой жадный брат.
Отведав травки, дав удобренья,
Пить шоколад?..

...Да что ж там скачет – за потрохами,
Стучится злей?
Спасибо, Боже, что взял стихами.
Теперь – налей.



ИГОРЬ НИКОЛЬСКИЙ
Родился в Гатчине,
в настоящий момент живет
в Петербурге. Стихи пишет
с 2005 года. В составе твор-
ческого трио «П.Н.Д.» высту-
пает в различных городах
России.
Опубликовал сборник стихо-
творений «Наждый из нас»
(2017).

* * *

Вечер, метро, в тоннеле светло, как днем.
Стук не сдержать, он рвется из сердца прочь.
Не попадая в нормы дверной проем,
Снова я бьюсь об стену, горох точь-в-точь.

Значит, пришла пора покидать насест...
Чертова память, яростней пламеней!
Из всевозможных тихих, спокойных мест
Я выбираю землю и прячусь в ней.

Я выбираю призрачное метро –
Нет настоящих линий, фальшив билет.
Можно всю жизнь лететь сквозь его нутро –
Станций конечных тоже, по счастью, нет.

Я выбираю ветер, что бьет в лицо
Через окно из светлых, пустых глубин.
Есть, говорят, в столице его кольцо,
В нем в форме буквы М укреплен рубин.

Город над нами бьется в силках – час пик!
Новые мысли тонут в дрянном спирту.
Новые лица тот же корежит тик –
Вредно, конечно, правду держать во рту.

А по тоннелю поезд летит стремглав
Новым маршрутом – он ни хорош, ни плох.
Жизнь продолжает список удачных глав –
Перышком из-за конторки помашет Бог,

Поезд сорвется в сумрак, к иным мирам,
Стукнув меня о поручень головой...
Старый вагон – мрачный, забытый храм,
Мчащийся вдаль под призрачную Невой.



НСЕНИЯ САВИНА
Родилась в 1992 году
в Санкт-Петербурге. Выпуск-
ница философского факуль-
тета СПбГУ и одноименного
факультета РХГА. Религиовед,
ончила аспирантуру ЛГУ
имени Пушкина по направ-
лению «Философия религии
и религиоведение». Занима-
ется теорией и практикой
стихосложения в верлибре.
Дебют в «Знамени». Участ-
ница заключительной смены
форума молодых деятелей
культуры и искусств
«Таврида». Живет в Санкт-Пе-
тербурге.

* * *

В дыму каштановом,
В сиреновом дыму,
Посреди зелени
Оставьте меня, милые,
Идите своей дорогой.

Научусь, как подорожник,
Расти всюду.
Будучи втопанной в землю,
От дождя и ветра
Научусь распрямляться.

* * *

Трудно птице взлететь,
Да в полете легко.
Эх, возьми меня, ветер, в жены,
Какие тебе подарю бури!
И сына, и дочку...

Мне б хоть одну ночьку
Трепетать и выгибаться над миром.
Буду будто полотнище белое,
Будто крыло горлицы –
Тебе одному буду союзница!

А ты все воешь и мечешься,
Нет в тебе ни правды, ни воли,
Которых во мне с избытком.

* * *

А по осени строгим, сильным
Журавлиным клином
Выбью из памяти
Многострадальной
Тебя, моего журавля белого!
Журавля в небе.

И синицу в руке
Перестану мучить.
Августовскими грозами
Провожу под сень
Ветвей раскидных
И с разбега в мороз
Войду свободная.

Просто мучить перестану
Птицу малую,
Сердцу милую синицу
Освобожу из руки сжатой.

* * *

Должна сомнения отбросить
И сама новой весне доверить
Себя, как порой безрассудно
Судно доверяют водам,
Потому что оно предназначено водам
И только им его право – переправить
Мужей смелых через море – судить.

Должна себя доверить людям,
Как доверяют, за сердце хватаясь,
Дочь мужу, сына службе,
Мужаясь и прозревая:
Судьба не дура,
Не игра в кости.

Почаще заходи ко мне в гости,
Еще не то расскажу.



МАРИНА КРУТОВА

Поэт, автор трех поэтических книг: «Совершенно-сенняя» (2005), «Не умею любить вполсилы...» (2007), «Женщина, которая поэт» (2018).

Живет в Твери. По специальности врач — реаниматолог-анестезиолог.

Многоратный лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов, таких как «Хрустальный родник», «Зеленый листок», «Предлог», «Осиянное слово», «Пере-права», «Поэтический атлас», «Славянская лира», «Витебский листопад», фестиваля «Всемирный день поэзии» и многих других.

АНТОНОВКА

Антоновку с ветвей снимал сосед,
Стремянкой небо подперев умело.
И осень на его ладонях зрела,
А он был этой зрелостью согрет.
И становился будто бы здоров,
Вдыхая запах кислый и бодрящий.
И тяжесть яблок наполняла ящик,
И душу наполняла до краев.
Но жизнь сама снимает урожай.
Кому легко нести такую ношу?
И дом был снегом густо запорошен,
И было деда по-соседски жаль.
И прелый запах яблоневых строк,
Лежащих без движенья на соломе,
Напоминал, что был хозяин в доме,
Но пережить антоновку не смог.

МОЙ ГОРОД

Тверской весны угрюмый вид
Напомнит старого бродягу:
В грязи, потрепан и небрит,
Окурком ТЭЦ всюду дымит,
В кармане сжав с лазурью флягу.
На коже – сыпь дорожных ям
И вены вздуты половодьем...
А по нахмуренным бровям
Трамвай ползет ко всем чертям,
И на Советской в ноль уходит...
На Комсомольской каждый год
Нарыв вскрывается подкожный.
И вновь бродяга просто ждет,
Пока беда «сама пройдет»;
Прижав асфальта подорожник...
Оставив почести другим
И старых крыш понурив плечи,
Мой город слишком человечен...
И оттого до слез любим.

МЕЧТА О СЫНЕ

Город продрогший стынет
В пасмурной оболочке.
Папа мечтал о сыне,
А получилась дочка:
Девочка – белый бантик,
Розовые сапожки...
Дождик опять некстати
В зонтик стучит горошком.
Капли спешат остаться
В омуте луж бездонных...
Папа ведет на танцы
Юную примадонну.
Чешки надеть поможет,
Ловко закрутит кичку...
Дочь стала всех дороже,
Дочка – его частичка.
Пусть хмурый дождь пунктиром
Снова с небес закапал...
Девочка правит миром –
Миром в душе у папы.

НАСЛЕДСТВО

Где-то там, где дома прикипают к земле,
Где застывшее время ко всем безучастно,
Мне в наследство достался заросший участок
Да изба, прислоненная боком к ветле.
На облупленный шифер налипла листва,
Словно силясь прикрыть неухоженность дома.
И ветвей рукава, будто свыше ведомы,
Обнимают его по законам родства...
Опустевший давно – не приют, не очаг, –
Доживает свой век по-крестьянски покорно...
Здесь, из этой земли, силу черпали корни,
Но о них облетевшие листья молчат...
Лебеда и полынь – старожилы глуши.
Сотню верст прошагай – тишина бездорожья...
Здесь наследство мое: не от бабушки – божье.
А вокруг – ни души.



АЛЕНА СЕНИЦА

Поэт, автор-исполнитель, пишет стихи и прозу. Лауреат Филатовской премии (2016) в номинации «Поэзия», дипломант областной литературной премии имени Роберта Рождественского (2017).

* * *

В две тысячи первом
Петя был дворник
с двумя выходными –
суббота и вторник.
По вторникам Петя
смотрел на крыши,
с которых падали
капли снега,
хорошо, что сегодня
дожил до обеда,
хорошо, когда сверху
тарелка неба.
В огромном городе
у Пети не было
никого, только
серые мыши
в подвалах Манежа,
и где-то повыше,
он носил им
в карманах
кусочки хлеба.
А по субботам
ходил на концерты,
по маленьким залам
мотал километры.
Арбат не любил
и Тверскую тоже,
бродил по дворам,
избегая прохожих.

Петя стоял
на обочине мира,
мир состоял
из отсутствия мира.
В две тысячи первом
Петя был первым
человеком в Москве,
что смотрел на небо,
и увидел там снег,
и поймал его ртом,
вдруг рассмеялся
кто-то, но кто?
Оглянулся в глаза,
видит –
шапка-ушанка
по лицу прочитал –
хулиганка.
Сумасшедшая,
с поезда сшедшая,
городская, большая
наконец-то живая!
В голове с тараканами,

но без мышей,
а Петя впервые
стоял в центре мира,
и мир состоял
из простых вещей.

* * *

Вот так живешь в пустом поселке,
в сосновой прячешься иголке,
а сверху примечаешь метки
верхом на старой табуретке.
Два раза в день проходит поезд,
и едут все вагоны порознь,
им вслед пускаешь кольца дыма,
жизнь тоже проезжает мимо.
А впрочем – это так прекрасно,
к ней оставаться безучастным,
поскольку для всеобщей бездны
мы все равны и бесполезны.
Пока поселок замечает,
фонарь на станции мигает,
бродячий пес из леса лает,
а снег летит, и он не тает.

* * *

Есть время, пока не придет электричка,
Москва – Шаховская – 6:23,
затертая станция, сверху табличка –
Манихино, Троицкая, Снегири.
Из тамбура лезет подвыпивший дядя
и тычет в лицо мне журнал «Крокодил»,
напротив огромная тетя в помаде,
сын ее рядом, конечно, дебил.
Я сяду в вагон № 6 у окошка,
рассадой зажатая в самом углу,
пусть едет со мной молодая картошка
в две тысячи двадцать каком-то году,
картошку посадит в саду-огороде
какой-нибудь старенький дед-брадобрей,
и будет она в чистоте, на природе
расти без серьезных и взрослых людей.
Есть время, пока не придет электричка,
Москва – Шаховская уже на путях,
но всех безбилетных и бедных птичек
кондукторы высадят в Снегирях.

Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

| Юность №9
| Сентябрь 2020

| Тема номера:
| Таврида

ПРОЗА



ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН

Я скептически отношусь и к своим педагогическим талантам, и к тезису о том, что один человек может научить другого писать литературные тексты. Писать учат жизнь, чтение и бесконечное переписывание. Поэтому приглашение провести мастер-класс для молодых писателей на «Тавриде» я встретил с зыбкой смесью неуверенности и ужаса. Но потом вдруг вспомнил, что последнюю четверть века в качестве готового редактора занимаюсь преимущественно тем, что изо дня в день помогаю умным взрослым людям писать пусть не литературные, но умные взрослые журналистские тексты. Так почему бы благородному дону и т. д. Про жизнь рассказываю, про чтение подсказываю, переписывать заставляю — поди, справлюсь. И я поехал. Не уверен, что справился. Скорее, просто повезло. Собралась очень сильная группа, умеющая сочинять под мой дурацкий заказ интересные сюжеты, расписывать их и переделывать. Резвились мы отчаянно. В частности, я задал каждому придумать историю, которая развивается как совершенно фантастическая, раскрываясь все объясняющим реалистическим финалом, — а потом попросил пройти эту или похожую историю с другой стороны, обеспечив сугубо обыденное течение к сугубо сказочному финалу. Хороший рассказ редко пишется за одну ночь. Но молодые писатели из моего семинара за ночь создали классные, интересные и захватывающие тексты. Несколько получились просто отличными. В их числе — этот рассказ Сергея Нубрина. Хороший человек, как известно, не профессия. Поэтому очень хороший человек Сергей Нубрин работает в полиции — я подозреваю, из высокого принципа и гордого упрямства, — а ночами, наработывая конкурентные преимущества для таких вот мастер-классов и т. н. для национального литературного процесса, пишет крутые повести про жизнь настоящих людей. Я давно знаю Нубрина как одного из лучших молодых прозаиков страны, давно его читаю и с восторгом наблюдаю за его ростом. Я продолжаю наблюдение. А вы присоединяйтесь.

МОЛОДАЯ ЖЕНА



СЕРГЕЙ НУБРИН

Родился в 1991 году в Пензенской области. По образованию юрист, работает следователем. Публикации в толстых литературных журналах («Урал», «Волга», «Октябрь», «Сибирские огни»), автор книги «Между синим и зеленым» (2019), лауреат

международной литературной премии «Радуга», литературной премии «Лицей».

Жена сказала: «Напьемся еще раз – можешь не возвращаться». Пить он никогда не умел, но старательно учился. Ежедневные тренировки особого результата не приносили, зато уверенно вели к разводу.

Стоял на лестничной площадке. Синий от алкоголя, красный от спелых ударов. Весь помятый и кривой, с порванным воротником, ободранном подбородком. Кажется, в драке вытащили кошелек и... ключи.

Приблизился к двери. Прислушался. Тишина убеждала подождать.

С верхнего этажа, словно с небес на грешную землю, спустился сосед, вытащил из кармана фанфурик.

– Бушь?

Кивнул и выпил. Быстро и горячо. Зачем-то смял стаканчик, на что сосед выдал невнятное возмущение. Виногато дунул, вернув пластику форму, и не заметил, как опрокинул еще, а потом еще и еще, много раз по пятьдесят.

– Не очкуй. Меня сто раз выгоняли. Скажи, что любишь. Жить не можешь. Хочешь, вместе зайдем?

Отказался, и сосед разочарованно ответил:

– Как хошь.

Наступил второй приход. Пить пьяным – все равно что изображать любовь, когда разлюбил. Зачем

вообще женился. Кутил бы, как раньше, и не думал, что дома – ждут. Умерла единственная лампочка в подъезде. Пошатнулся, нашел стенку. Все нормально – живой.

Он беспричинно пил все лето. Начальник, смирившийся с его ежедневным похмельем, как-то понимающе объяснил, что причина есть всегда.

– Работа, жена, квартира. Чего тебе не хватает? Молодой, вся жизнь впереди.

Пообещал, что обязательно завяжет.

Жена уже не верила обещаниям. Сначала обещал, что сделает ее самой счастливой, потом говорил, что все наладится, теперь что выберутся, выберется, уберется.

Поднес кулак и вроде бы решил постучаться. Раздва-три. Поймет? Не поймет! Не победить, не оправдаться.

Обидно заняла рука, в затылке сжалось. Все прошло и наступило снова. Круговорот дерьма в природе.

Нырнул в карман, обнаружил немного денег: хватило бы на цветы или конфеты. Но прощение не купишь, и он тихонечко постучался.

Щелкнул замок. Понял, что можно зайти. Ни крика, ни сцен.

В кухне гудел холодильник, звенела вода. Жена мыла посуду, ссутулившись и согнувшись.

– Давай помогу?

Нырнул в карман,
обнаружил немного денег:
хватило бы на цветы или
конфеты. Но прощение
не купишь, и он тихонечко
постучался.

Она выпрямилась, будто хотела сказать что-то,
но ничего не сказала.

– Прости меня. Я смогу. Ты только верь, пожалуйста.

– Да ладно, – ответила, – привыкла. За столько-то лет.

Он был совсем рядом, когда повернулась. На чужом лице с рябой морщинистой кожей разглядел ее вечную родинку. А глаза не узнал. Ни запаха, ни тела, ни себя рядом с ней. Совсем старая и совсем нелюбимая. Обняла его, даже не обняла, а только прикоснулась до плеч и холодно поцеловала в шею.

Хотелось выпить, вернуть молодость, а больше ничего не хотелось.



ЗАГАДКА ПАРКА



НАТАЛЬЯ ЛИСИНА
Родилась и живет в Саратове.
По образованию психолог.
Ведет литературный проент
«Читаем вместе!».

Алексей с детства был особенным ребенком. Родители и знакомые звали его Лешка. А нянечка, приходящая с двенадцати до шести вечера вот уже как 18 лет, пока мама была на работе, называла его «мое солнышко». Лешке это нравилось, как нравилось и наблюдать за людьми вокруг.

Незнакомые дети, иногда приходившие во двор, его дразнили, почему он, такой взрослый, с бородой, но всегда кричит вечером, встречая маму с работы: «Мам, мам, я есть хочу»? Почему он не может сам себе приготовить? Но Лешка не обижался, мама еще в детстве терпеливо объясняла ему, что обижаются только глупые люди, а Леша – умный и добрый.

Он любил гулять в парке, который был расположен рядом с научно-исследовательским институтом. Ему нравилось смотреть, как профессора гуляют в обед, он слушал их мерную речь, половину слов, конечно, не понимал, но ему нравилось это спокойствие и уверенность, с которой они вели беседу. Леша хотел тоже стать профессором. Мама рассказывала ему, что сначала нужно много учиться, и он учился! Он видел студентов, всегда спешащих на занятия, с учебниками в руках. Леша брал из дома книги, клал их между рукой и боком и в точности копировал их быструю походку.

Однажды он так напугал одну студентку, что она даже достала из сумки какой-то спрей, похожий на мамин лак, которым она утром брызгала воло-

сы. И он объяснил девушке, что лак ей совсем не нужен, ведь у нее чудесные волосы, и девушка обозвала его: «Идиот!» – и быстро ушла. И Леша опять не обиделся, ведь благодаря ему она убрала лак в сумку, а так бы... Ну зачем он ей сейчас?

В парке на одной из дорожек всегда было много кошек. Их прикармливали, и часто это делали студенты, отдавая им остатки своего обеда.

Этот факт очень интересовал Алексея, как и все, что делали студенты.

Леша умел рисовать, и он решил каждый день зарисовывать, каких кошек кормили студенты. Леша терпеливо просиживал в парке каждый день и выводил свою статистику: сегодня два раза рыжая красавица-кошка получила остатки гамбургера от высокого парня в очках, потом ей отдал хлеб мужчина с ноутбуком, а пестрая получила упавшую котлетку, когда девушке, державшей книги, неожиданно позвонили.

К концу весны у Алексея скопилось множество рисунков. Он не знал, что с ними делать, но был уверен – это поможет ему осуществить мечту.

Леша нашел тихое место в парке, разложил рисунки перед собой и провел так пару часов, внимательно изучая цвета кошек.

Он вглядывался в них, пока наконец его не осенило: дело вовсе не в цвете, дело в самих студентах! Он начал новое наблюдение...

Слушая, как ругается няня, обрабатывая ему рану, потом как жалеет его мать, зашивая карман, он думал только об одном: кому-кому рассказать? С этой мыслью он заснул.

Начиналась осень, шло 2 октября, и Лешка понял: каким-то мистическим образом те студенты, которые кормили кошек, рано или поздно выходили из университета с красными корочками, а те, которые избегали этой облюбованной хитрюгами дорожки, просто бежали, опаздывая, и прижимали к себе книжки.

Раз за разом он находил подтверждение и укреплялся в уверенности, что эта закономерность работает почти в ста процентах случаев.

Теперь он и сам решил кормить кошек: иногда он съедал только хлеб, а колбасу отдавал им.

Наслаждаясь тем, что владеет секретом, Алексей начал меняться. Он перестал пытаться приблизиться к проходившим и уже привыкшим к нему профессорам, не пытался заговаривать с вечно опаздывающими студентами, он держался поодаль с какой-то усмешкой, и более того, даже походка его изменилась! Будто это ему вручили красную корочку, и этот факт заставил его расправить плечи и сделать походку размеренной.

Но не все тайны созданы для того, чтобы их хранили. Ведь некоторые могут принести огромную пользу для других, и такие тайны рано или поздно заставят поделиться.

И вскоре этот день настал.

Алексей еще накануне, перед сном, чувствовал какое-то беспокойство. Сны этой ночью были несвязанные – говорящие фигуры, пролетающие птицы, тени, мелькающие за окном.

Как обычно, позавтракав, Алексей поблагодарил няню, сказал, что пойдет в парк, и попросил обычный бутерброд, который якобы съест на месте. «Как обычно, всухомятку», – проворчала няня и завернула два бутерброда с собой.

Алексей прошел в парк, остановился на знакомой дорожке, по привычке съел хлеб и маленькими кусочками начал кидать колбасу набежавшим кошкам.

Подошла группа студентов, их позабавило, как животные сражаются за куски еды. И они обратились к Леше: «А хлеб что не едят? Не голодные, наверное? Обожравшиеся!»

Алексей с загадочным видом протянул: «Не понимаете в-в-вы... н-н-не понимаете?»

Студентов чрезвычайно позабавил ответ, и они спросили «Чего уж?»

Леша ответил: «В-вы никогда не бу-бу-будете профессорами!»

Один из группы выступил: «Ты че, отсталый, что ль?»

Алексей всегда вовремя вспоминал, что обижаться нельзя, ведь он умный, он добрый, но в этот раз, когда он точно знал истину, когда он, единственный из всех, знал тайну, которая может сделать эту жалкую группу студентов обладателями красных корочек, он больше не мог прощать или не обращать внимания.

«Ты сам д-дурак!» – закричал Лешка и запустил куском колбасы в парня.

Стоит ли описывать, что произошло после этого.

Возраст студентов был таков, когда каждое слово, которое было произнесено в пределах слышимости, ни в коем случае не могло быть случайным, точно так же, как и не могло остаться без ответа.

Когда прохожие мужчины оттащили разъяренных студентов от Алексея, у того была рассечена губа, порван карман – и огромное желание рассказать правду про кошек. Так, чтоб услышали, чтоб поняли масштаб этой тайны и какая в ней сила и мощь!

Алексей, как отмечалось, был очень наблюдательным парнем и умел делать выводы.

То, что он понял в этот осенний день, – студентам говорить нельзя. Они не понимают.

Слушая, как ругается няня, обрабатывая ему рану, потом как жалеет его мать, зашивая карман, он думал только об одном: кому-кому рассказать? С этой мыслью он заснул.

Утром, ничего никому не говоря, он умылся, оделся и решительно вышел из дома, не замечая луж и обеспокоенного взгляда няни, провожающей его с балкона.

Впервые за долгое время он не стал останавливаться на дорожке, а прошел дальше. Выйдя из парка, он перешел дорогу и оказался напротив высоких дверей, за которыми был вход в институт.

Его сердце билось часто, он почувствовал небольшое колебание, замешкался, но вдохнул и сделал шаг... Преодолев вестибюль и открыв еще одни двери, он оказался в огромном зале, наполненном людьми. Они сидели молча и смотрели на выступаю-

шего. Отдельно от всех сидело несколько профессоров – Алексей точно знал, как они выглядят!

Это минута его славы!

Выбрав самого солидного мужчину, с седыми усами и волосами, чуть длиннее принятого, Лешка двинулся к нему.

В аудитории шла защита кандидатской, и слушатели, как и выступающие, не сразу поняли, что происходит. Никто не стал его останавливать.

Леша остановился перед седым профессором и воскликнул: «Кошки!» Это слово очень четко и резко вырвалось из его рта. Обычно он заикался, но не сейчас.

«Кошки!» – повторил он на выдохе.

Он ждал, что после этого или начнут ему аплодировать, или замрут в восхищении. Но ничего не произошло. Сидящие люди просто перевели на него взгляд, а старый профессор вежливо обратился к нему: «Что вы хотели сказать, молодой человек?»

«К-к-кошки!» – снова воскликнул он.

«Хорошо, кошки. Что вы хотите рассказать про кошек?»

«К-к-кошки, их н-нужно кормить. Т-т-тем, кто кормит кошек, вы даете красные корочки».

Профессор видел не раз Алексея в парке, он понимал, что он особенный, умный и добрый. Он предложил выйти ему и побеседовать чуть позже, Алексей, конечно, согласился.

Они гуляли по дорожкам, кормили кошек, профессор узнал все, что хотел сказать ему Лешка.

И даже согласился с ним.

И рассказал, что загадка была связана с тем, что пару лет назад институт выделил аудиторию для защиты кандидатских с отдельным входом, с торца, куда и вела та дорожка, где обитали кошки, которых кормили студенты.

А другая, где их не было, вела в основной корпус института, куда бежали студенты с книгами и откуда выходили без красных корочек.

Вот и вся тайна.

Хотя, возможно, главная тайна была в том, почему Алексей, с разбитой губой и пришитым мамой карманом, не расстроился. Он шел домой через парк и улыбался, отчего-то довольный и гордый собой.





МИХАИЛ БУТОВ

Благодаря «Тавриде» я с удовольствием пообщался с талантливыми молодыми людьми со всей России, из очень разных мест. Мне было интересно узнать их поближе, понять, чем они живут. В итоге — совершенно искренне — я, к собственному удивлению, провел со своим семинаром незабываемые дни. Надеюсь, что и сам я был им полезен. А теперь желаю им в первую очередь удачи, потому что она напризна и от нас не зависит.

САША



ГЕННАДИЙ ДАВЫДОВ

Родился в 1989 году. После школы поступил в институт на факультет социальной психологии, из которого благополучно ушел, не окончив последний курс. Незадолго до поступления были совершены первые шаги: написаны первые рассказы, которые спрятаны подальше

от посторонних глаз; были первые попытки найти себя на этом поприще. Вся творческая деятельность в те годы носила характер развлекательный, ведь во всяком молодом человеке играет энергия, жажда деятельности, и бросается он на любое дело, как голодный. Позже после трехлетнего пере-

рыва произошло некоторое переосмысление творческой деятельности, в результате которой возникло твердое желание реализовать себя как писателя.

– Это же детство, – говорит Саша и будто бы уже не обращает эти слова к Кате, а произносит их для себя, как бывает иногда в разговорах, когда та или иная тема затрагивает особенно чувствительные моменты прошлой жизни, и такой переход как бы ослепляет говорящего, переносит все его внимание к воспоминаниям. Саша не замечает, как мышцы его невольно расслабляются, лицо разглаживается, голова медленно склоняется набок, а взгляд опускается к своим рукам; он не замечает и улыбки на своих губах только потому, что она не стоит ему никаких физических усилий. Со стороны, наверное, может показаться, что Саша постепенно погружается в сон с каким-то прекрасным видением перед глазами и с некоторым оттенком блаженства на лице. Кажется, он не замечает, как повторяет уже произнесенную фразу: – Это же детство. В нем все так просто: бывает либо весело, либо скучно. Разве у тебя такого не было? – С последними словами взгляд широко раскрытых глаз Саши устремляется к черным глазам Кати, словно бы желая отыскать в них тот же отклик, какой эти слова находят в его сердце. В *весело* и *скучно* Саша вкладывает куда больший эмоционально-чувственный диапазон, но ведь в детстве все куда проще...

Еще до того, как Катя начинает отвечать, Саша замечает в ее лице и глазах отсутствие того желаемого отклика, и отсутствие это делает ответ

предсказуемым, пустым, бесполезным, а саму Катерину – еще более чужой, более искусственной и менее человеческой.

– Каждый наш разговор, который продолжается больше десяти минут, открывает тебя так, – говорит Саша, откинувшись на стуле, скрестив руки и испытывая такого рода раздражение, которое возникает при полном непонимании друг друга в пространстве незримом, чувственном, несмотря даже на то, что, может быть, у обоих имеются схожие или даже идентичные чувства, эмоции, настроения, однако и те и другие никак не могут, да и никогда не смогут найти общего канала для связи между собой, и неважно, какие слова будут сказаны, какие поступки будут совершены. Просто бывает так, что определенные люди в этом чувственном пространстве совершенно слепы по отношению друг к другу, даже более того: какая-то сила противостоит сближению их. – Будто ты – не ты, – договаривает Саша, – и я разговариваю с совершенно *незнакомой* женщиной.

Хотя слова Саши могут показаться комплиментом к некой многогранности и личностной глубине Кати, но на самом же деле ими он желал выразить совсем другое: ведь сколько бы они ни говорили между собой, сколько бы ни выказывали себя в рассказах и поступках, они так и останутся чужими друг для друга. Этот разговор был, наверное, по-

следней подсознательной попыткой отыскать в душе Кати что-то родное, что-то схожее, что-то такое, что могло быть сделать ее частью Саши. И даже если это *что-то* и существует в Кате, то оно никогда не позволит себя отыскать в этих непроглядных черных глазах. «Наверное, и душа ее такая же черная, и сердце тоже», – думает Саша, со злостью смотря, как Катя направляется в свою комнату, как переодевается, а затем направляется к выходу. Непонятно почему, но именно в этот момент Саша испытывает невероятную потребность в том, чтобы Катя осталась дома, чтобы в ней обнаружилась пусть совсем крошечная частичка человеческого тепла, проявление которой не потребует от нее равнодушных расчетов и всего того прочего, что так свойственно ее характеру; ведь всякие расчеты, размышления о выгодах – все это убивает душевность любого поступка одного человека по отношению к другому и привносит унижительную, мерзкую механизированность. «Наверное, водитель вкладывает больше души, когда протирает приборную панель своего автомобиля салфеткой, чем когда *она*... – все сильнее раздражается Саша, смотря исподлобья на обувальную Катерину. Руки его вытянуты по швам, кулаки крепко сжаты, а плотно сомкнутые губы вздрагивают так, будто он хочет то ли улыбнуться, то ли расплакаться. Весь его вид напоминает обиженного и озлобленного ребенка. – Когда *она* целует, обнимает или говорит что-либо утешительное».

Катя не прощается и даже не оборачивается. Во всех ее движениях, даже самых простых, вроде завязывания шнурков, нельзя не заметить какой-то особенной неспешности, плавности, задумчивости, какие свойственны человеку не просто одинокому, но тому, кто не замечает присутствие других людей; не видит, не слышит, как бы не догадывается о наличии в них души. И потому Саша чувствует себя словно запертым в мыльный пузырь; он чувствует бессилие, которое порождает злость и раздражение – на себя и на весь мир. Однако все это переживание в целом отдает болезненной ностальгией. С каждой секундой Саша вспоминает все то, что до сих пор не может забыть. Не может забыть потому, что не в силах простить.

В следующий момент окно в спальне распаивается, возникший сквозняк вырывает дверь из руки Катерины и захлопывает ее с такими силой и шумом, что Саша невольно зажмуривает глаза, как от внезапной боли, и вздрагивает. Вся эта ситуация, а в особенности прохлада и запах осени в сквозняке, тотчас возвращают Сашу на двадцать два года назад, в его десятый день рождения. Тогда Саша так

же стоял в коридоре напротив входной двери, как стоит сейчас; он так же смотрел на уходящего отца, как мгновение назад смотрел на Катерину; и отец его в тот момент двигался и вел себя именно так, будто бы Саши не просто не было рядом, но и не существовало вовсе. И тот же грохот захлопываемой двери, и тот же холодный сквозняк с особенным запахом рыжей осени. Несмотря на свой возраст, Саша каким-то чувством знал, что все случится именно так и отец уйдет. Знал, но верил, что все это не сбудется, как не сбываются многие детские страхи. И тем ужаснее стал момент побега отца, что страх этот материализовался; а когда один из потаенных страхов в один лишь миг из мысли превращается в непреодолимое и необратимое действие, которое осязается физически, осязается душевно, именно тогда возникает тревожное ожидание того, что и все остальные страхи вскоре так же перестанут существовать только лишь в голове.

Когда отец обувался, Саша кричал как мог: и ругался, и молил того остаться, бросался к ногам, рыдал, и жаждал разорвать на себе и одежду, и кожу, чтобы только показать, насколько больно его сердцу. Но отец не реагировал. Не реагировал потому, что Саша стоял на месте, бледный, со сжатыми кулаками и злобным взглядом голубых глаз исподлобья. Все же рыдания, мольбы и крики происходили в сердце Саши, в его мыслях, которые никак не переходили в действие. Наверное, потому, что им просто не было место среди происходящего – своим равнодушием отец занял собой все пространство. И как бы Саша ни хотел, он не мог сделать даже шагу, не мог выдавить тогда и слезинки; но расплакался, закричал и, когда захлопнулась дверь, бросил первое, что попало под руку. Бросил в то место, где минутой ранее находился отец. Саша бросил крошечную вазу в того призрака отца, который снова и снова уходил, который снова и снова захлопывал за собой дверь, раз за разом, исчезая и появляясь вновь. После вазы он бросал стакан, ручку, ключи и все то, что еще находилось на комод. Он бросал и бросал, но призрак отца не реагировал и все так же равнодушно уходил, бросая дверь, позволяя холодному осеннему сквозняку ее захлопнуть.

Когда же на комод ничего больше не осталось, Саша несколько мгновений слепо шаркал по столешнице пальцами, скребя ее ногтями, затем развернулся к ней и в отчаянии выбросил перед собой обе руки, желая то ли ударить комод, то ли толкнуть его, однако из-за тяжести того Саша оттолкнул себя; он выставил было ногу, чтобы вернуть себе равновесие, но остушился и упал. От сильной боли

в копчике у Саши перехватывает дыхание. Находясь в метре от неподвижного комода, он с рыданиями поочередно бьет ногами по воздуху, как бы защищаясь, будто комод этот приближается и грозит обрушиться на него. В следующий момент Саша поднимается на ноги, но вновь спотыкается и падает на осколки от разбившейся керамической вазы.

Часом позже вернувшаяся Арина Сергеевна обнаруживает сына с воспаленными, влажными и как бы стеклянными глазами, гладким, бледным лицом, с запекшейся кровью на бедре и предплечье. Маленький Саша сидел на коленках, сгорбившись и покачиваясь, с поднятой головой и ничего невидящим взглядом, руки его плетью свисали с плеч.

– Господи!.. – мгновение спустя выдохнула Арина Сергеевна, и шепот ее звучал как молитва: трепетно, со страхом и надеждой. – Господи!.. – повторила она, невольно протягивая дрожащую, сухую руку к Саше, но затем, словно, обжегшись, одернула ее и коснулась своих губ. Арина Сергеевна сорвала с головы платок и бросилась к сыну, который только тогда обратил на нее внимание, когда она сжала его лицо в своих руках и силой обратила к своему лицу. – Саша!.. Сашенька... – прошептала Арина Сергеевна голосом дрожащим, с некоторым отчаянным торжеством, будто бы произошло наконец событие трагическое, тяготящее душу и сердце, но свершение его теперь должно принести облегчение. – Это должно было случиться, должно, Саша, понимаешь? И хорошо, что это случилось, хорошо, ведь теперь станет легче, легче, понимаешь? – Она сжимает Сашу в своих объятиях, быстро целует его лицо и никак не замечает его взгляда, в котором одно только детское непонимание того, как может быть хорошо, как может быть легче, если *так* больно. – Просто покорись этому, – быстро говорит Арина Сергеевна, – покорись и не думай над причинами, хорошо? Не нам знать причины истинные, не нам судить, просто так надо! Если это произошло, значит, так надо, и надо покориться! Все будет хорошо, – шептала она и прижималась своей щекой к щеке Саши.

Успокоившись, Арина Сергеевна отстраняется от сына, но не выпускает его лица из своих рук. Кажется, только сейчас она замечает кровь на его теле, следы которой после объятий виднеются и на ее одежде. Арина Сергеевна встала, а затем подняла с колен Сашу и отвела его в ванную, смыла кровь, умыла его лицо, перевязала неглубокие порезы, после чего причесала и отвела в свою комнату.

Именно последующие минуты стали особенными в жизни маленького Саши, когда мать, шурша сво-

ей длинной черной юбкой, проводила его к постели; а после того, как она нежно поцеловала Сашу в светлые волосы, в ее руке словно из ниоткуда оказалась небольшая, умещающаяся в ладони потрепанная книжка, которую она положила перед Сашей на постель.

– Оно всегда спасало меня, – произносит Арина Сергеевна голосом ласковым, но с оттенком странной покровительственности, какая тотчас превращает родную мать в существо как бы не родное, чужое; при таком поведении будто бы убираются всякие чувственные и инстинктивные привязанности, какие обычно мать испытывает к сыну; вместо них в поведении Арины Сергеевны, в ее движениях и взглядах, в ее голосе и интонациях, все в ней начинает сквозить каким-то священным долгом, не соблюдать который просто не в ее силах. В такие моменты во всех ее поступках чувствуется присутствие посторонней воли. – Всегда спасало и продолжает спасать. И меня, и мою душу. Оно поможет, – шепчет Арина Сергеевна на ухо Саше, – не делай усилий к тому, чтобы верить или не верить, просто впусти это в себя; впусти, и пусть твое сердце само определит. Ответ придет тебе не мыслью, а чувством. Ты не сможешь пропустить и не понять его. Старайся не мешать себе разумом – пытаться понять или осмыслить. Любые мысли сеют сомнения, а в сомнениях нет правды. Правда приходит чувством. – Она еще раз целует Сашу в макушку, шумно вздыхает, а затем выходит из комнаты и аккуратно закрывает за собой дверь.

Неясно, сколько времени маленький Саша простоял перед кроватью, но опомнился он, когда в комнате начало темнеть. Солнце опустилось за горизонт, и слабый, сумеречный свет, проникая в единственное окно, как бы обесцвечивал не только все вещи вокруг, но и, кажется, всю жизнь. Саше казалось, что все меркло и умирало.

В момент ухода отца между ним и сыном будто бы натянулась неосязаемая цепь, которая соединяла их до настоящей минуты и которая после грохота захлопывающейся двери не разорвалась и не растянулась – она осталась в отце, таким образом вырвавшись из маленького Саши вместе с какой-то его частью и оставив глубокую, ноющую пустоту.

В соседней же комнате Арина Сергеевна тихо молилась, стоя на коленях перед кроватью и опустив голову на сцепленные в замок пальцы рук. Она знала, что Саша жаждет *ее* присутствия в такой тяжелой момент, жаждет *ее* ласки, *ее* внимания, но, вопреки тому, нужно оставить его наедине с *Ним*; правильнее, чтобы Саша нашел утешение не в мате-

Солнце опустилось
за горизонт, и слабый,
сумеречный свет,
проникая в единственное
окно, как бы обесцвечивал
не только все вещи вокруг,
но и, кажется, всю жизнь.
Саше казалось, что все
меркло и умирало.

ринской ласке, а наставлениях и напутствиях *Его*. И нашел их бы сам, и принял бы их. «В моих силах уменьшить боль, но не в моих силах открыть путь к спасению, – думала Арина Сергеевна, – не в моих силах наставлять его, он должен прийти к этому сам, своими силами, своим сердцем. И сейчас самый подходящий для того момент! Мое же присутствие только все усугубит, оно уверит его в том, что утешение есть только лишь в объятиях близкого и родного человека. К остальному он останется слеп, и это погубит его, погубит, и потому он сам должен прийти, сам, без принуждения!»

Все слова, произнесенные матерью, кажется, продолжали витать около маленького Саши, продолжали звучать в его голове сухим шепотом, похожим на шум ветра, запутавшегося в сухой листве. Смысл же сказанного ею оставался для Саши недоступен. Он помнил каждое ее слово, но не видел в нем целостного образа, не видел потому, что видеть хотел совсем другое – Саша хотел найти ответы на вопросы. Почему ушел отец? Как его вернуть? Что нужно для этого сделать? Кто в этом виноват? Ответы на эти вопросы принесли бы некоторое облегчение хотя бы осознанием причин; они дали бы надежду на возможность исправления произошедшего. Но их нет. И даже в таком состоянии Саша, сохранив способность мыслить, понимает, что должен возненавидеть отца, должен обозлиться на мать; должен потому, что он по одному только положению своему является невольным приемником всяческих последствий тех или иных поступков со стороны родителей: какой бы шаг они ни предприняли, последствия его обязательно затронут его, и неважно, берет ли он ответственность или нет.

«Принятие ответственности вообще являет собой особое средство для притупления чувства вины или прочих проявлений совести», – позже подытожил Саша, вспоминая все произошедшее, но уже с высоты своего жизненного опыта.

В случае с Сашей ответственность эта принимала форму своевременной выплаты алиментов. Ведь именно так откупаются от отцовства; ведь именно так откупаются от собственной совести, когда совесть эта выстроена положениями конституции. Довольно просто откупиться от отцовства, но невозможно какими бы то ни было деньгами купить отца.

Несмотря на все свои мысли, Саша не мог злиться на мать, не мог злиться и на отца. Быть может, такая отстраненность была следствием религиозного воспитания матерью; быть может, причина была в восприятии отца как человека, которого Саша любил так же сильно, как и боялся. «У папы очень ответственная, важная и очень опасная работа», – отвечала Арина Сергеевна, когда Саша спрашивал о том, кем работает его отец; никакой конкретики, никаких намеков, только пространственные и короткие описания, которые могут охарактеризовать множество работ. Однако такая характеристика деятельности отца соответствовала его внешности и поведению. Несмотря на крепкое сложение Игоря Андреевича, в движениях его присутствовала некоторая ловкость, которую никак не ожидаешь встретить. Он не имел привычки смотреть на собеседника только лишь затем, чтобы выказать свое внимание. Саше казалось, что каждый взгляд, в котором всегда присутствовали усталость или какая-то леность, каждый взгляд его в глаза или на какую-нибудь часть тела всегда как бы отмечал, обнаруживал или уличал в чем-то и тем самым предоставлял куда больше информации, чем того хотел бы его собеседник. Интонации голоса Игоря Андреевича никогда не соответствовали его мимике: он мог кричать, мог говорить ласково, а мог говорить таким особенным шепотом, каким обычно выражают самые серьезные угрозы, но никогда Саша не замечал изменение на его гладком лице, которое в такие моменты больше походило на восковую маску. Вообще Игорь Андреевич говорил мало и общался с сыном часто посредством жены. «Саша сегодня отличился на математике», – говорила Арина Сергеевна. Игорь Андреевич же тогда поворачивался к сыну и своим взглядом словно бы искал подтверждение или опровержение услышанному; когда же он уверялся в правдивости и в отсутствии всяких преувеличений, то кивал и говорил: «Хорошо!»

Пауза между словами матери и конечным итогом, высказываемым отцом, всегда вызывали в Саше стран-

ного рода страх, потому что сам итог, пусть и короткий, сухой, озвученный без всякого выражения и чувства, имел для Саши самое решающее значение. Подтверждение отца было особенным явлением, которое свидетельствовало, что событие это свершилось на самом деле и последствия его имеют какую-то значимость. Наверное, если бы Саша спас человеческую жизнь и услышал от отца что-то вроде: «Пусто это», то спасенный им человек тотчас бы умер.

И сейчас, стоя в своей комнате перед кроватью с находящимся на ней Евангелием, Саша не чувствует злости, но чувствует что-то новое, чего раньше никогда не чувствовал: странного рода принятие произошедшего со всеми его последствиями. Это новое чувство уверяет, что так должно было произойти, только так и никак иначе, и что малейшие непринятие этого случая, малейшие отклонения в сторону от заданного пути ведут только к большим страданиям, а принятие ведет к покою. Не мыслью, а именно чувством маленький Саша понимает, что принятие тождественно прощению; и что тем особенно это принятие, что для прощения не требуется понимания всех причин случившегося. Когда он наконец подошел к кровати и опустился перед кроватью на колени, была уже ночь. Все вокруг поглотила тьма, и только через окно, справа от Саши, проникал серебристый свет от поднявшейся уже луны и косым лучом высвечивал лежащее Евангелие. Взволнованное, глубокое дыхание Саши разогнало лоснящиеся пылинки, парившие над книгой. Он протянул к ней руки, крепко сжал пальцами обложку, но не открыл, – часто читаемое вслух матерью, а впоследствии и самим Сашей, содержание Евангелия никогда не покидало его памяти; да и в настоящую минуту он не имел потребности в чтении, он жаждал касаться его, таким образом будто бы касаясь чего-то сакрального, священного, чего-то спасительного и успокаивающего. И чувство это похоже на то, когда человек наконец находит тот самый ключ от всех дверей, универсальную формулу для ответов на все вопросы, для решения всех задач; оно похоже на озарение, на ощущение приобретения чего-то необъятного, бесконечного. Саша не сразу замечает, как тяжелые, горячие слезы просачиваются сквозь сжатые веки и, скатываясь к подбородку, оставляют соленый привкус в уголках губ. В этот же момент Саша чувствует свершение что-то особенного и значительного, но вместе с тем он боится, что все это лишь наваждение, некая слабость рассудка, которая пройдет после глубокого сна, и все новые переживания останутся лишь воспоминанием, не оставившим ни единого

следа. Долгое время Саша борется со сном, прикладывая к тому все возможные усилия: он нарочно не ложится в постель, несмотря на боль, продолжает стоять на коленях, однако спустя некоторое время все равно засыпает, и засыпает крепким, сладким сном без сновидений.

Проснувшись, маленький Саша лежал некоторое время без движений и смотрел в одну точку на потолке. Как только ему припомнились одно за другим все события вчерашнего дня, он сначала заробел, взволновался и всеми чувствами своими как бы сжался и попятился от этих воспоминаний, как при приближении оскалившегося пса, собирающегося напасть, но мгновение спустя, когда он припомнил чувства, случившиеся с ним вчера вечером, то необъяснимая радость охватила его. И радость эта стала оттого сильнее, что Саша осознал: чувство то не потеряно и не забыто сердцем, напротив, оно живо, оно наполняет его тем же кротким, радостным спокойствием, каким наполняло ночью во время молитвы. Кажется, что сон без сновидений стал своего рода перезагрузкой, после которой жизнь Саши началась не просто с начала, но с нового и правильного начала.

Именно это чувство теперь как бы впереди всех остальных, и именно оно теперь является первостепенными глазами и ушами Саши – оно теперь интерпретирует услышанное, увиденное им; оно говорит, что нужно чувствовать, что испытывать, что переживать при том или ином случае. Подчинение и безоговорочное принятие дарует исключительный покой рассудка и души.

За завтраком Саша не рассказал о своем внутреннем преображении, однако он еще не успел заметить, что преобразование это изменило его внешность: бледно-голубые глаза Саши словно бы улыбались; и улыбались такой улыбкой, какая появляется у человека, повидавшего всякое и не способного уже удивляться чему-либо; на лице его появилось выражение кроткой радости и покоя. Все эти новые черты хотя и имели искреннее начало в душе Саши, но никак не шли десятилетнему мальчику; они придавали ему вид несуразный, глуповатый, отчего впоследствии и началась его травля в школе. Арина Сергеевна не могла не заметить эти изменения. Она понимала их причину и внутренне радовалась тому, хотя и никак не выражала своих чувств.

Влияние нового состояния превратило Сашу из ребенка малообщительного в совсем молчаливого, более наблюдательного, замкнутого; без всякой причины часто улыбающегося чему-то своему, что недоступно для других. Много времени проводящего

в уединении, не двигавшегося и смотрящего в одну неподвижную точку. Весь вид Саши как бы говорил, что он в отношении всего имеет свое мнение, которое в корне отличается от мнения, приемлемого большинством, и потому, наверное, все дети в школе сторонились его; часто подшучивали и смеялись за спиной.

Обретение веры наполнило Сашу особенной радостью, которой хотелось поделиться с другими, показать, как все просто, как легко может быть в мире, если *верить*, если *уметь прощать*; он никогда не говорил о Боге, никогда не упоминал о вере даже в разговорах с матерью. Саша был уверен, что вера его нуждается в тишине, в покое, что неприемлемым и даже оскорбительным станет какое бы то ни было упоминание о ней в присутствии других людей, пусть тоже верующих. Чувство это особенное, свое, и рассказывать о нем, делиться им означало бы посягать на свободу чувств чужих. Вообще говорить о вере словами, преобразовывать ее в мысль приравнивалось Сашей едва ли не к святотатству.

В церкви же он каждый раз переживал такую близость к Богу, которая приводила его в кроткий восторг. Несмотря на то что не всякий приходящий имел веру, Саша отличал таких людей по взгляду и выражению лица. Он нисколько не сомневался в том, что многие из приходящих людей *не верят*, но страстно того хотят; они свято молятся несколько раз за день, исправно постанут, причащаются, подают бедным и никогда не пропускают ни одного похода в церковь, они словно бы жаждут выжать из всех этих ритуалов некую эссенцию *веры*, впитав которую они тотчас прозреют и обретут состояние блаженства. Однако такие люди так и остаются слепцами.

Много лет спустя Саша отметил, что подобная альтернативная модель присутствует в тренингах по саморазвитию и прочей чепухе: жаждущим успеха людям предлагают соблюдать определенные ритуалы, которые должны привести их к богатству; люди эти ведут бизнес-дневники, записывают идеи, планируют свой день, учатся мыслить «правильно», они жаждут выжать из этого ту же эссенцию, какой хотят прихожане, но все оказывается тщетным, а единственное удовольствие, доставляемое ритуалами, – *правильность* своих действий, своего выбора. Именно *правильность* так важна в жизни каждого человека только потому, что она является единственным лекарством от гнетущего чувства, когда кажется, что вся жизнь до настоящей минуты была неправильной, всякий выбор и всякий поступок – пусты. «Важно знать, что все не зря, что все было правильно, а потому и религия, и подобные тренинги очень действенны и даже полезны для

души, для рассудка, несмотря на практическую их бесполезность», – скажет однажды Саша.

Несмотря на выплачиваемые отцом алименты и зарплату матери, которая после ухода мужа устроилась уборщицей, денег хватало только на самое необходимое, однако качество этого необходимого прямо соответствовало низкой цене. Со временем на одежде Саши появились едва заметные стежки или бирки всяческих фирм вместо латок, хотя выглядел он опрятным, был всегда причесан и умыт. Учился хорошо, с должным уважением относился к учителям, те же отвечали взаимностью; часто болел, но никогда не отставал ни по одному из предметов. Весь мир Саши, все его распространение происходило в несвойственном для его возраста внутреннем, имплицитном пространстве; как и каждый ребенок, он имел жажду познания, жажду изучения, но интерес его мало касался проявлений мира внешнего, материального; а потому всякие попытки сверстников вовлечь его в свои игры оборачивались тем, что Саша с улыбкой покачивал головой и говорил: «Нет, спасибо, но мне нравится просто наблюдать», а затем уходил в сторону. На смешки и оскорбления он отвечал одними только взглядом – не в глаза, а куда-то в сторону – и той же кроткой улыбкой. Но все это воспринималось как снисхождение и высокомерие, которые все больше раздражали его одноклассников.

Со временем насмешки за спиной начали высказываться в лицо, затем обрели характер практический. Но по причине того, что весь мир Саши был скрыт от остальных, все интересовавшее его лежало в пространстве, недоступном для других, а следовательно, недоступном для всякого рода посягательств, он стойко переносил свою новую роль и никогда никому не жаловался, не злился, даже напротив, чувствовал не *потерю*, а *приобретение*. Издевавшиеся над Сашей мальчишки не могли не видеть тщетность своих усилий, и проделки их приобрели новый характер: из простой забавы они обрели конкретную цель – заставить его страдать. Мучители, наверное, подсознательно знали, что известные им средства бесполезны против Саши, и оттого злились еще больше.

С начала нового учебного года, когда Саше только что исполнилось четырнадцать, в их классе появилась новенькая, одна только внешность которой тотчас привлекла к себе внимание всех. Именно в этом возрасте происходят известные изменения, когда мальчишки перестают быть мальчиками, а девочки – девочками, по крайней мере, в своем возрастном окружении. Все эти слова обретают для них значение оскорбительное, сродни недоразви-

тости. И потому внешность новенькой обратила на себя особенное внимание со стороны всех парней класса, даже самых тихих и забытых, вроде Саша. Отдельная же группа парней задиристых, отрицающих всякие правила уважения и свободы других, не осознавая того, сразу же выпрямила спины, расправила плечи; кто-то подавался вперед, облокочиваясь на стол, кто-то, наоборот, скрещивал руки и отклонялся на спинку стула; но на всех их лицах были одинаковые однозначные ухмылочки. Девушки же либо не обращали внимания, либо делали вид, что не обращают внимание на появление новенькой.

Густые светлые волосы, темные брови и темные глаза, цвет которых невозможно определить сразу; только находясь в шаге, можно было разглядеть эти пасмурно-серые глаза. Такой контраст во внешности новенькой вызывал ни на что не похожее чувство. Может быть, именно невозможность выразить его словесно, придав тем самым определенную форму, и делало это чувство еще более сильным. Потому что в подростковом возрасте неподдающиеся объяснению вещи или события притягивают к себе сильнее, чем когда бы то ни было; они приобретают некоторый романтизм самых разных оттенков. Однако на одном уроке литературы при устном пересказе отрывка романа Лермонтова «Герой нашего времени» прозвучало заветное название особенности новенькой: порода. «А Василиса-то наша – породистая лошадка!» – выкрикнул посреди урока один парней, и почти весь класс засмеялся. Не смогла скрыть улыбки даже учительница. Однако на следующий же день выкрикнувший эту фразу пропустил первый урок и опоздал ко второму. Лицо его было мрачно и сурово, движения имели характер неестественных аккуратности и сдержанности; против свойственной ему беззаботности и веселости он молчал весь день, ни с кем почти не заговаривал, явно избегал общества Василисы и даже не смотрел в ее сторону. На одной из перемен Саша услышал, что его одноклассника избили ребята из одиннадцатого класса. После этого случая никто уже не позволял публичных комментариев по поводу Василисы.

Первый месяц внимание всех парней забирала новенькая, а потому все нападки на Сашу почти прекратились, однако случай с избиением внушил всем недоступность ее во всех смыслах, и гнев от невозможности мести, от невозможности владения ею обратился на Сашу. Несмотря на это, Саша по-прежнему воспринимал нападки одноклассников как явление природное, стихийное, избежать которого, а тем более судить которое никак нельзя. Раз за разом от чистил одежду и рюкзак от грязных сле-

дов подошв, подбирал брошенный учебник, склеивал порванные страницы, не замечал оскорбления.

Часто невольно, без какого-либо умысла и подолгу Саша засматривался на Василису, на ее лицо, выражающее какую-то духовную усталость; на ее пасмурно-серые глаза, взгляд которых казался настолько тяжелым, что тяжесть эта ощущалась почти физически. Весь вид Василисы как бы говорил, что все происходящее вокруг является чем-то пройденным уже множество раз, будто память прошлых жизней ее жива и таким образом отравляет настоящее ее существование, лишает его контрастов и красок. Мысли Василисы сильно интересовали Сашу; ему хотелось знать, *каким* она видит этот мир, *какой* она видит себя в этом мире, что любит, что ненавидит, *каким* видит свое прошлое и видит ли свое будущее. В Саше присутствовало стойкое убеждение, что Василиса страдает; и страдает не от боли физической, а от наличия в ее душе неизлечимой раны. Ему также казалось, будто в страданиях этих оголяется ее гордость, не приобретенная, а словно бы врожденная, природная гордость. Свойство это неотъемлемо, но выказывает себя только в моменты пароксизма ее страданий; как подводный риф открывается только во время отлива.

«Замечают ли это другие?» – нередко задумывался Саша; он проникался этим видением и невольно наслаждался им, пока однажды в один из таких моментов созерцания Василиса не обратила на него внимание. Сначала к Саше обратились ее глаза, а за ними – лицо. В ту минуту взгляд ее словно бы говорил: «Нравится смотреть на мои страдания? Тогда смотри, смотри же, продолжай, наслаждайся, как наслаждаются *все* вокруг. Я могу сделать свою рану еще глубже, тогда боль станет почти невыносимой, но зрелище это будет радовать тебя и тебе подобных куда больше, правда ведь!» Не более мгновения смотрели они друг другу в глаза, но Саше оно показалось донельзя долгим. Он тотчас отвернулся, покраснев и устыдившись того, что мог наслаждаться гордо-страдающим видом Василисы; наслаждаться в бездействии, как наслаждаются *все*, вместо того чтобы помочь или каким бы то ни было образом облегчить ее состояние. Однако Василиса казалась Саше человеком недосыгаемым, она казалась куда выше его, способнее и опытнее. Одна только мысль о том, чтобы заговорить с ней, а тем более предложить ей свою помощь, напоминала прикосновение грязными, замаранными руками к чистой, гладкой, благоухающей коже. «Да и какую помощь я могу предложить», – с некоторой безысходностью говорил себе Саша, а затем задумывался над значением этой фразы: пытался ли

он этой фразой огородить себя от тщетных попыток или же оправдывал ею свою трусость. Ответа он не находил, а потому продолжал бездействовать, хотя чувствовал отчаянное стремление к действиям.

Однако по прошествии некоторого времени, в один из тех дней, когда настроение мучителей Саши особенно располагало к соответствующим выходкам, внезапно вмешалась Василиса, и поступок этот привлек общее внимание. Мучителей на тот момент было трое, но обратилась она к одному из них. – Зачем ты это делаешь? – спросила Василиса голосом тихим, спокойным, но с каким-то особенным призывком, который как бы показывал ее несомненное право на вмешательство и получение ответа.

Нельзя было не заметить того отвращения, какое возникло на лице одного из обидчиков Саши, когда к нему обратилась Василиса. Отвращение вместе с презрением, выразить которое никак нельзя под угрозой наказания; жесткого наказания. И именно невозможность переступить свободу Василисы являлась своего рода подчинением ей, вызывала раздражение и гнев. Хотя до настоящей минуты свою протекцию старшекласников она использовала лишь раз.

– Зачем ты это делаешь? – повторила Василиса с прежней интонацией, без страха заглядывая в глаза обидчика Саши.

В ответ же звучит что-то невразумительное. Обидчик при этом отводит взгляд, видимо, считая для себя унижительным смотреть Василисе в глаза; губы его искривляются в наглую ухмылочку, направленную своим друзьям для того, чтобы те поддержали его речь, однако те не отвечают, они с интересом смотрят на него и на то, как он себя поведет перед Василисой.

– Ты ведь ему должен сказать спасибо, – продолжает она и склоняет голову набок, – а знаешь почему? – И, не дожидаясь ответа, которого и так бы не поступило, Василиса отвечает сама: – Потому что не будь *его*... – Взглядом она указывает на побледневшего Сашу, после чего вновь смотрит обидчику того в глаза и произносит тихим, внушительным голосом: – Ты бы занял его место. Потому что ты следующий в этой дурацкой системе.

Верхняя губа обидчика вздрагивает, ноздри его расширяются, красные пятна выступают на щеках от сдерживаемого гнева. Он вновь осматривается на своих товарищей, но те уже отступили на несколько шагов и теперь с хищными улыбками наслаждаются зрелищем.

– Вот видишь, – говорит Василиса. – Ты им не нужен. Ты им никто. Ты просто *следующий*. Но пока

есть *он*, ты вне опасности, а потому должен быть благодарен ему, потому что он терпит то, что тебе терпеть не под силу. Прикоснись к нему еще хоть раз, и будь уверен, тебе будет плохо.

После слов Василисы товарищи обидчика громко хохотали над всей ситуацией, но в большей степени над тем, что все слова ее правда. Обидчик же демонстративно фыркнул, затем плюнул в ноги Саше и, схватив свой рюкзак, едва ли не выбежал из класса.

«Спасибо», – сказал про себя Саша, но как бы сильно ни хотелось произнести это вслух, он не мог побороть в себе какой-то ступор. Вместо слов он лишь выдавил дрожащую улыбку и в несколько движений то ли кивнул, то ли поклонился Василисе. Звонок на урок и вошедшая учительница наконец прервали неловкую паузу, после которой Саша тотчас отвернулся к учебнику и старался в течение всего урока не смотреть на Василису. Он чувствовал себя обязанным ей, однако не знал, как выказать свою благодарность, чтобы она стала равноценной свершившемуся ее поступку.

После урока, который был последним на сегодняшней день, Василиса первой вышла из класса, несмотря на то что заметила робкое движение Саши в ее сторону, однако дождалась его уже на улице.

– Пройдемся, – просто сказала Василиса и улыбнулась.

Она была выше ростом и казалась взрослее, как, впрочем, и все девочки в таком возрасте в сравнении с мальчиками. Одетая она была в черное пальто и высокие сапоги; шапку никогда не носила, несмотря на холод. Саша же в своей болоньевой куртке и теплой шапке казался себе плюшевой игрушкой, ребенком: глупым, незрелым, не знающим, как себя надо вести. В дополнение к тому пахла Василиса каким-то особенными духами, немного горькими; явно не такими, какими пользовались ее сверстницы – более приторными, насыщенными, как бы детскими.

– Знаешь, – начала она после недолгой паузы, – ты похож на ягненка. В смысле не на маленького зверя, нет. Но ты как тот ягненок, которого так любили приносить в жертву. Агнец. Ты ведь веришь, да? Веришь в Его существование, и это делает тебя таким выносливым.

Саша обратил было на нее полный изумления и надежды взгляд, но, ощутив, что взгляд этот слишком откровенен и многозначителен, вновь опустил голову и в мыслях осадил себя за возникшее новое чувство, о природе которого не имел понятия; хотя отчетливо знал, что оно не пошло, но в нем было желание раскрыться перед ней и тотчас высказать

все свои тайны, все свои мысли, что непозволительно было делать.

- Я видела крестик у тебя на шее и видела, как часто ты его касаешься, когда волнуешься или задумываешься. Наверное, ты и сам не замечаешь этого, да?
- Наверное, – пробормотал Саша, хотя желал сказать что-то более умное, более развернутое, но в настоящую минуту он не был способен ни на какие сложные мыслительные процессы.

По прошествии, наверное, пяти минут Василиса повернула голову к Саше и быстро попрощалась, сказав:

- Тут мне в другую сторону. До завтра, ягненок.
- До... завтра, – только и смог сказать Саша, подняв ладонь.

С этого дня все нападки со стороны одноклассников прекратились, вместе с тем начали ходить разные слухи, один из которых говорил, что Василиса – родная сестра Саши, потому цвет волосы у обоих светлый. Вместе с тем Саша начал замечать, как обидчика его начали подначивать товарищи, чтобы тот вопреки указанию Василисы предпринял что-то в отношении Саши. Подначивания эти со временем начали обретать характер насмешек; насмешки превратились в издевательства, а издевательства – в травлю. В начале этого разрушительного процесса обидчик Саши еще пытался сам смеяться над шутками товарищей и над собой, но в смехе его отчетливо звучали страх и неуверенность. Он не владел ситуацией и все еще пытался доказать, что он часть того сообщества, на стороне которого сила; доказать не себе, но остальным, потому что сам он знал, что не является частью; он лишь овца в шкуре волка, которая пряталась среди других волков и питалась мясом своих сородичей. А теперь, когда шкура была сброшена, овца эта тщетно пыталась рычать и продолжать жить в волчьей стае, по волчьим законам. Это и стало всеобщим посмешищем, вызвавшим травлю.

Среди девушек ходили и другие слухи про Василису: будто бы связь той с одиннадцатиклассниками не останавливается на одних общении и дружбе, но тянется куда глубже. «Глубже, чем можно проглотить!» – шептали они и громко смеялись. Слухи эти возмущали Сашу, ему хотелось вразумить всех, что Василиса куда лучший человек, чем все они, вместе взятые; что она чиста и не может поступать так, как о ней говорят. Но он молчал, зная, что слово его в обществе не стоит ничего, а быть может, и вовсе усугубит эти слухи.

С того самого дня Василиса всегда прогуливалась с Сашей после школы по пути домой. Наверное, она

нашла в нем не простого слушателя, но человека, способного понять и принять ее без всякого суда.

В первые недели их общения Саша пребывал в нервно возбужденном состоянии от того, что он так или иначе полезен такой девушке, как Василиса, что она нуждается в нем. Мысли эти не могли не льстить самолюбию, даже такому крошечному, какое есть у Саши. Ему нравилось слушать ее голос, ему нравилось находиться с ней рядом; он чувствовал себя востребованным, что означало в нем наличие какой-то особенности. Вместе с тем он сильно желал, чтобы Василиса переживала те же чувства. Несмотря на то что она каждый день уходила в компанию совсем других людей – старше Саши, более влиятельных, если рассматривать понятие «влияние» именно глазами подростков, более сильных, красивых и более успешных, – несмотря на это Саша не ревновал и не чувствовал себя неполноценным в сравнении с ее кругом общения; наверное, потому, что он знал наверняка: завтра они вновь будут прогуливаться вместе после школы. «Ведь есть во мне что-то такое, что ей необходимо, по крайней мере сейчас», – с тихой радостью думал он, при этом зная, что так не может продолжаться вечно.

В одну из таких прогулок Василиса молчала почти всю дорогу до того места, где они обычно расходились. Саша также молчал, считая, что настроение Василисы требует тишины. «Бывает же такое, что хочется помолчать рядом с... – думал Саша и все хотел сказать про себя: *близким человеком*, однако никак не мог считать таковым для Василисы, – рядом с другом», – закончил он, веря, что откровения ее заслуживает только *друг*, а не просто знакомый. Пройдя же заветную развилку в прежнем молчании, Саша напрягся. Он и хотел бы сказать, что она, вероятно, задумалась и потому пропустила поворот домой, но не мог, потому что желание находиться рядом было сильнее. Саша знал эгоистическую природу своего желания, знал о пусть незначительном, но все-таки ощутимом вреде, который эгоизм может причинить. Он знал, но утешался *ответственностью*: готовностью понести наказание, готовностью всеми силами исправить все последствия своего поступка.

Тогда Саша не понимал, что действия его походили на действия отца.

- Ты можешь пригласить меня к себе? – с некоторым усилием произнесла Василиса, остановившись. На щеках ее появился легкий румянец, который заметил Саша и тоже покраснел. – Я хотела что-то тебе рассказать, но на улице, на морозе это неудобно, это долго. Холодно ведь. Я бы пригласила тебя к себе, но отец... я рассказывала,

что он снова запил и потому... – Она продолжала смущаться все больше, и голос все более начинал дрожать, а затем и вовсе затих.

- Конечно! – выпалил Саша. Сам не осознавая своих действий, он сжал руку Василисы в своих руках, не в силах долее смотреть на ее смущение и на те мучительные усилия, которые она прилагала, чтобы это произнести. – Мама сейчас на работе, да и она никак нам помешать не может, ты ведь...
- Да, знаю. Она у тебя хорошая, я помню, – перебивает Василиса с улыбкой облегчения, а затем добавляет голосом тихим и теплым: – Спасибо.

Когда они вошли в квартиру, Саша старался, как хозяин, всячески услужить Василисе: он снял с нее пальто, предложил согреть чай, указал рукой на свою комнату. Он волновался, что квартира его покажется Василисе устаревшей, может быть, даже детской, однако Василиса осматривалась с интересом, она остановилась перед образом, который заметила за приоткрытой дверью в комнате матери.

- У вас здесь так уютно, – сказала она, потирая себе плечи.
- Отец оставил нам квартиру. Он ею занимался, мы же ничего не меняли, – произнес Саша и сам удивился тому, как просто он упомянул отца, впервые долгое время.
- А у нас краска от стен отслаивается, и полы деревянные, как в школе. Даже цвет такой же кирпичный, – с принужденной улыбкой сказала Василиса

Саша понимал, что таким отвлеченными темами она как бы подготавливает себя к тому разговору, ради которого пришла; а потому не спешил, но даже наоборот, всячески оттягивал наступление того самого момента.

Только после второй чашки чая выражение лица Василисы изменилось. Беззаботная улыбка исчезла, и она начала покусывать нижнюю губу; взгляд сосредоточился на одной точке, как бывает, когда человек старается сформулировать какую-то сложную для него мысль.

- Знаешь, – начала она, ласково глядя чашку указательным пальцем. – Обо мне ходят слухи... – Сказав это, она мельком посмотрела Саше в глаза; тот в свою очередь напрягся, выпрямился в спине и весь обратился в слух. – Гадкие слухи, унижительные. Будто бы я... со старшеклассниками... – шепчет Василиса с секундными паузами. – Гадко то, что это правда. – Она вновь замолкает и на мгновение всматривается в глаза Саши. В этот момент с самого его затылка и до поясницы рассыпалась холодная дрожь; что-то похожее

произошло и в голове, только вместо мурашек были образы: откровенные и пошлые, уничтожающие всю чистоту Василисы. – Унизительно то, что причина моих поступков не та, что в этих слухах. Просто... я в каком-то смысле такая же, как ты: я беззащитна, я бессильна, я просто забытое и слабое существо, которое нуждается в защите посторонней, без нее я просто перестану быть, я исчезну, но я хочу жить, хочу радоваться, хочу, чтобы в воспоминаниях моих были такие вот моменты, как сейчас... – Василиса прерывается; на губах ее рефлекторно вздрагивает улыбка, та улыбка, которая призвана утаить внутреннее горе и с которой она, как кажется Саше, борется, чтобы переступить через себя и полностью открыться. – Но у тебя есть Бог, твой Бог, который спасает тебя. Ведь все видят, все, понимаешь, пусть и сквозь насмешки, но все видят, что тебя ничто не может сломить, потому что твоя вера не оставляет тебя, ты никогда не бываешь одинок. А я не такая, я не могу так. Не чувствую, хотя и пыталась, но это не мое, не могу. Принуждать же себя... ты знаешь, что это самообман, это не тот путь, это все не то. И потому я выбрала такой низкий способ защиты себя, единственно доступный, потому что я слаба; слаба, но жажду жить, а потому готова, наверное, на все. Ведь куда уж хуже! У тебя вера в Бога, а у меня, кажется, сделка с Дьяволом. – Василиса истерически усмехается, но тотчас берет себя в руки и продолжает: – Прозаично. Но ведь только так я выживаю. По крайней мере, я делаю это по своей воле, а не по принуждению. Это меня утешает. Хоть как-то утешает. Я говорю это тебе потому, что знаю: ты не осудишь, ты примешь меня. Ты не станешь пытаться помочь, пытаться изменить меня, ты просто примешь меня такой, а ведь именно того мне и нужно – принятие и понимание, ничего больше; ни помощи, ни убеждений или чего еще хуже. Только понимание и принятие. Ты не делаешь меня лучше, не делаешь хуже, но своим присутствием ты как бы принимаешь меня, и я сама начинаю принимать себя, понимаешь? Видя, что ты можешь принять меня, понять меня, я и сама в какой-то мере могу принять и понять себя, и мне становится легче. Только не думай, что я пользуюсь тобой, нет. Совсем нет. С тобой я *живу*. Хотя ты далек для меня так же, как, наверное, кажусь тебе далекой я. Часто я стыжусь того, что своим общением могу запятнать тебя, испортить или изменить. Все это так непросто. В смысле понять: плохо ли это по-настоящему

или нет. Тяжело понять, что значит *по-настоящему*. Мне очень бы хотелось убедиться, что наше общение – это хорошо, это правильно и нет в нем ничего плохого. Что я не порчу тебя.

Не шевелясь и почти не моргая, Саша слушал признание Василисы с напряженным вниманием, и хотя все услышанное было далеко от его понимания, он видел боль в ее лице, он слышал страдания в ее голосе. Саша никак не понимал, почему он далек для нее; ведь вот он, здесь, рядом, готовый на любой поступок ради ее успокоения, и ничего не мешает их сближению. Но так он думал тогда, но только впоследствии понял, что физическое их сближение не стало бы тождественно сближению духовному. И если Василиса могла быть ближе для Саши, то Саша оставался неким недостижимым идеалом для Василисы, способным сохранять свою целостность всегда, в отличие от нее, вынужденной жертвовать какой-то своей частью, отдавать ее на растерзание миру, чтобы взамен получать защиту и подобие покоя. Жертва эта казалась Василисе признаком существа слабого, подневольного и низменного, неспособного на те чувства и даже на такую жизнь, на которую способен Саша, и потому как бы сильно она ни желала быть ближе к нему – она не могла.

Он хотел ее успокоить, чувствовал некоторую потребность что-то сказать, внушить свое участие взглядом, объятиями, но не мог. Саша знал, что всякая его инициатива станет неуместной, неуклюжей; жалкой карикатурой на то, *как* на самом деле должно быть. Он не понимал ошибочность своих мыслей – отсутствие опыта и некоторая стереотипность мышления, свойственная его возрасту, уверяли, что любые действия должны *выглядеть* так же идеально, как в воображении, и только в таком случае они возымеют силу. Хотя совсем неважно, *как* это выглядит; важно, *с каким* чувством это совершается.

– И знаешь, – продолжала Василиса, – я думала о том, что могу вызвать у кого-то жалость, сочувствие, желание помочь, исправить, ведь всегда есть такие люди; ты такой, это видно, это нельзя скрыть. Я думала, и... все это ни к чему не приведет, а знаешь почему? Потому что это рефлекс, это как у животных, в любой стрессовой ситуации я прибегу к тому, что уже испробовано, что точно работает, прибегу к этому унизительному способу выживать, потому что однажды смогла, смогу и еще. И даже если меня закрыть, спрятать от всех, то я буду чувствовать себя спрятанным от всех монстром, таким, которых держат в подвале, и ладно, что те монстры не знают, кто они, а ведь я знаю, кто я, понимаешь?

Попытаться помочь мне – это как заставить собаку поверить в то, что она не собака: заставить ходить ее на задних лапах, заставить есть со стола. Понимаешь? Так можно, но собачью природу ее не изменить.

Перед уходом своим Василиса обняла Сашу, поблагодарила за чай и за то, что тот выслушал ее, а затем попросила никогда не припоминать этот разговор. «Пусть все будет, как раньше, – сказала она, – а этот момент, надеюсь, не изменит твоего ко мне отношения».

Несмотря на уверенность Василисы в способности Сашиного сердца принимать ее без какого-либо суда, она не могла знать о том влиянии, какое оказала на него, забитого, одинокого мальчишку, который не только впервые чувствует тепло отношений дружеских, но и, как и все в его возрасте, подвержен желанию пола. Саша действительно принимал Василису, хотя и не совсем понимал; принятие же это исходило не только от доброго сердца; Василиса явилась первым человеком, защитившим его, проявившим сочувствие и заботу, после чего своим откровением она, сама того не желая, принудила Сашу почувствовать себя особенным, единственным среди всех... а оттого и влюбленным.

Они продолжали гулять после школы, как прежде.

Впоследствии Саша вспоминал этот период как один из самых значимых, самых лучших периодов своей жизни. Потому что связь с Василисой открыла ему маленькие земные радости в общении с человеком; он впервые почувствовал уют от общества и непринужденного разговора, где не важны тема и суть, но важна равноценность получаемых и отдаваемых эмоций и чувств.

Однако по прошествии нескольких месяцев Василиса исчезла. Она никогда не говорила о том, что может вот так пропасть, уехать, испариться, или, по крайней мере, хочет. В поведении ее также не было предпосылок к тому. Саша не мог поверить, будто Василиса после всего могла бросить его, не сказав ни слова. От бессилия и невозможности что-либо предпринять Саша начал ходить по тем местам, где она, по его мнению, гуляла со своими друзьями; в любом скоплении людей он невольно выискивал Василису, ее светлые длинные волосы, ее запах, жаждал услышать ее голос. Часто Саша загуливался допоздна. Он искал Василису, зная о тщетности своих попыток, но искал потому, что не мог не искать, не мог не принимать каких бы то ни было мер. Перед сном в своих молитвах он всегда упоминал Василису и просил любую весточку если не о ее местонахождении, то хотя бы о ее благополучии.

И в один из дней он получил такую весточку о Василесе, правда, как слух, но Саша был рад любому упоминанию о том, где она и что с ней случилось.

«Лошадка наша, – негромко говорил один из одноклассников Саши, обращаясь ко всему классу, который окружил его в ожидании каких-нибудь скандальных новостей, потому что о другом у них рассказывать было не принято, – допрыгалась наконец. – Произносил он это голосом нарочито тихим, хриплым, с некоторой небрежной важностью, словно бы повидал куда более скверные вещи, чем те, о которых собирается сказать. – На Новый год, говорят, на вписке, слишком уж много выпила, да и потерялась: от одного сразу под другого. Не понравилось это некоторым. – Рассказывающий сделал многозначительную паузу, хмыкнул, осмотрел всех, а затем продолжил: – Не понравилось. Говорят, как увидели... так и по кругу ее... всю ночь; а потом пьяную так и выгнали на улицу, и бросили; а перед тем – несколько раз по лицу, чтобы знала... Рассказывали, что дома еще и отец ей добавил; затем в больницу попала, а из больницы бабка ее, говорят, увезла куда-то: то ли в деревню к себе, то ли в другой город.

– А в какую деревню? – как-то само вырвалось у Саши тотчас, как одноклассник закончил свой рассказ.

Он и не хотел спрашивать, не хотел показывать своего участия, но услышанное вызвало настолько сильное волнение, что лицо его побледнело и покрылось испариной, дыхание участилось. Саше становилось тесно и душно в этом кабинете, среди этих людей; собственная одежда душила, и каждый вдох, кажется, все более лишал его сил.

Все присутствующие повернули головы к Саше; ему показалось, что общий взгляд *этих людей* содержал в себе какое-то презрение, брезгливость, как если бы все они выбросили какую-нибудь игрушку в мусорный бак, зловонный и полный всяческих нечистот, а Саша бросился бы в этот бак, зарылся с головой в его содержимое с одной только целью: отыскать выброшенную игрушку, которая теперь никому и даром не нужна. Вместе с презрением и брезгливостью присутствовала во взглядах какая-то торжественная нелицеприятность, словно все свершившееся – абсолютно справедливо по понятиям, которые в известных кругах стоят выше морали и законов.

– Всякий мученик ближе к Богу, – ответила мать, когда Саша решил рассказать ей о Василесе и о случившемся, хотя и умолчал о своих с ней встречах и тем более об откровении. – Быть мо-

жет, таким образом Он готовит ее к тому, чтобы принять к себе.

– Но неужели только *так*?! Неужели нельзя по-другому? – выкрикнул Саша, сам того не желая.

– Не нам решать, – тихо и смиренно ответила мать. – Нам и понять не дано. Ты вновь пытаешься *понять*, понять разумом, ты пытаешься судить, хотя и права на то не имеешь. Но видно, что это от привязанности к этой девочке, ты желаешь ей лучшего – отсюда твое возмущение.

Саша покраснел и ничего не сказал; только опустил голову, тем самым как бы покоряясь случившемуся, хотя какие-то противоречия и жажда борьбы по-прежнему обжигали его сердце. Но шло время; Саша, вновь обретший одиночество, смирился всей душой и всем сердцем. Воспоминания больше не сквозили прежними страстями и чувствами.

Прошло еще несколько лет, в которые Саша остановился перед выбором своей будущности – местная семинария и служение Богу или медицинская академия и служение людям. Однако в семнадцатый день рождения Саши мама его, Арина Сергеевна, слегла в постель с высокой температурой.

– Всякий мученик ближе к Богу, – обратилась она к Саше, повторяя то, что так часто повторяла про себя, – теперь и моя очередь. Я это чувствую, я это знаю. Пришло и мое время, только нужно потерпеть, иначе никак.

Вызванная скорая помощь разродилась двумя особами в белых халатах: мужчиной и молоденькой девушкой. От мужчины сильно пахло алкоголем и табаком; девушка казалась равнодушной ремесленницей, действия которой были точны и как бы рефлекторны, оттого казалось, будто думает она совершенно о постороннем. Был ли врачом тот мужчина или только фельдшером – неизвестно. Он только поставил укол, наследил грязной обувью и уехал. Температура спала, но лишь на время.

«Видимо, такие люди и способствуют воле Его», – многим позже не без злобы подытожит Саша.

– Оставь, – сказала тогда Арина Сергеевна сыну. – Время мое пришло, позволь мне уйти спокойно. Я знаю, чего сердце твое хочет, но порывы твои лишь больше мучений принесут. Больше и тебе, и мне. Я знала, я давно уж это чувствовала, и теперь готова.

Но вопреки всем просьбам и мольбам Саша отвез ее в больницу. Там диагностировали лейкемию. Последовала госпитализация, врач озвучивал стоимость лечения, и услышанные суммы шокировали Сашу. Но более удивляло его то, что жизнь его матери имела цену; определенное число.

- Оставь, – с еще большей мольбой в слабом голосе обращалась Арина Сергеевна к Саше. – Ведь не позволено, если суждено мне.
- Тогда почему совесть моя не позволяет мне оставить тебя! – с ожесточением выкрикнул Саша, стоя над кроватью матери. – Почему? Почему я не могу сидеть сложа руки, если Ему то и надо!
- Значит, так надо, значит, и ты за меня должен пострадать, – с кроткой улыбкой ответила та. – Прости меня за эти страдания.

Тогда Саша ничего не сказал и с остервенением выбежал из больницы. Он обращался куда только мог с просьбой о деньгах на лечение; даже в те инстанции, которые вовсе для того не предназначены. Каким-то образом Саша даже отыскал номер телефона отца, как единственного человека, связанного с ним и его матерью. Позвонив и рассказав о случившейся беде, Саша услышал те слова, которые и решили его будущность:

- Слышишь голоса? – говорил отец принужденно спокойным голосом. Саша действительно слышал детские голоса во время всего разговора. Голоса, смех, какую-то возню. – Это мои дети, две дочки, это моя семья, понимаешь? Неужели ты хочешь, чтобы я вручил тебе такие огромные деньги; хочешь оставить их ни с чем? Ты хочешь отобрать последний хлеб у моих детей?
- Хлеб... дети... – сам не свой шептал Саша. – Нехорошо брать хлеб у детей.
- Именно. Нехорошо.
- Нехорошо брать хлеб у детей и давать их псам, – продолжал шептать Саша.
- Что? Какие еще?..
- Но ведь крохи от детей падают под стол, и псы едят эти крохи!* – выкрикнул Саша в каком-то бреде.
- Мои алименты и есть ваши крохи, – холодно проговорил отец и оборвал звонок.

Какое-то время Саша сидел без движений и смотрел на свой телефон ничего не видящим взглядом. Он чувствовал, что внутри него формируется что-то новое, не совсем ясное, но это образование – Саша

знал наверняка – заполнит все существо: и разум, и сердце, и душу – и полностью изменит все представления его.

По прошествии же десяти месяцев с момента похорон Арины Сергеевны Саша узнал о смерти отца через уведомление о назначенном ему наследстве. В наследстве же этом значилась сумма, которую вымаливал Саша для лечения матери: ни больше, ни меньше. Он усмехнулся тогда: не искренне, но и не безумно – скорее принужденно, словно нечто невидимое растянуло его дрожащие губы; после чего с видимым усилием поднял голову и посмотрел в серое небо за окном, алчущим до правды взглядом. «Как это?.. – подумал Саша, зажмурил глаза и тотчас скрыл свою ухмылку за ладонями, словно какое-то уродство. – Как же это?» Тогда же он вспомнил последний свой разговор с отцом, вспомнил те ощущения от образования чего-то нового в себе, но только сейчас он понял, что это было – не потеря веры, но, скорее, потеря любви к Нему. Ведь не может человек потерять то, что, наверное, являлось неотъемлемой его частью еще до понимания наличия самой такой части. Однако может измениться отношение к тому. Каждый человек способен полюбить другого человека, и после предательства он не лишается такой способности, но отношение его к этому чувству резко меняется. То же произошло и с Сашей: он не потерял, не лишился веры, но перестал принимать ее, а затем начал всячески отторгать – относиться с пренебрежительной иронией, насмехаться; Саша по-прежнему видел проявление не воли человеческой, а воли Божьей, но в неясности ее, в отсутствии понимания он видел раздражающую несправедливость. «И какой пример в искушениях *его*, ведь *он*-то знал откуда пришел и куда идет, *он* знал, почему все свершается так, как свершается. Разве знание такое не делает подобный путь легким? Пройти такой путь, будучи *Богом*!.. Вот будучи *человеком* – это, может быть, еще и будет примером, будет подвигом, а это...»

* Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22-го по 28-й.

22. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 23. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. 24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 25. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 26. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 27. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.



ЗВЕЗДА ДЛЯ ЖАКА

РАССКАЗ



БОГДАНА НУВШИНОВА

Родилась и выросла в Республике Башкортостан. Училась в педагогическом университете в Уфе, в 2017 году работала послом русского языка в Марселе (Франция), в настоящее время пишет магистерскую диссертацию в Дублине в Тринити-колледже.

Участник литературных смен форума «Таврида» (2016–2018), полуфиналист фестиваля «Русские рифмы» (2016, 2018), участник летней литературной школы фонда СЭИП-2018, лауреат I и II степени литературного конкурса «Уфимская нуничка» (2016–2017), победитель конкурса «Моя семейная

история» (2017), победитель международного литературного Волошинского конкурса (2019) в номинации «Проза».

Часть 1

21 ноября 2017 года

– Держите своих клопов на привязи! – кричал старый Жак группе клошаров*. – Терпеть не могу, когда чужие клопы переезжают жить на мою голову, потому держите своих клопов на привязи!!! Жак – марсельский бомж. Ему пятьдесят, но на вид все семьдесят. Он обладатель карих глаз, большого галльского носа и недельной щетины. Говорит на литературном французском и считает трактаты Пруста потерянным временем. По образованию историк. Любит теплый хлеб, бретонский сидр и носит одно и то же пальто вот уже пять лет.

«Не отдавать папку».

Эту ночь Жак провел на Каталане. Каталан был его любимым пляжем. Дело было даже не в том, что он был в центре города, а в том, что именно там находился вход в старые катакомбы Марселя. Местные власти давно перекрыли вход, заварив основные галереи металлическими решетками, но старый Жак был таким древним, что знал потайную лазейку. Еще когда он был преподавателем истории в университете Экс-Марсель, во время одной из раскопок он нашел лаз. По каким-то причинам, ведомым лишь ему, Жак сохранил в тай-

не свое открытие. Будто знал, что оно ему очень пригодится.

В катакомбах было сыро, но тепло. Жак притащил матрац и одеяло, которые нашел в мусорке на площади 4 сентября. Благо в Марселе люди постоянно выбрасывают одежду и мебель: Жаку не приходилось воровать.

Он вышел на пляж, умыл лицо в холодной лазурной воде, прополоскал рот и вытерся рукавом своего засаленного черного пальто. На очереди завтрак. Прикинув, где сегодня можно поплотнее набить брюхо, Жак решил, что стоит начать с магазина «Лидл». Был конец месяца, а это период, когда короли сети «Лидл» выбрасывают в мусор продукты с двух-трехдневным сроком давности.

Жак прошел мимо парка Фаро, где цвели петунии и гортензии. Клошар спустился в старый порт, где, миновав театр «Ла Крие», свернул на тесную, маленькую улочку.

Вокруг баков напротив магазина уже собралась куча народу.

– Эх, чайки, – горланил Жак, – пустите старого бродягу, у вас хотя бы крыша над головой, а у меня?

Несмотря на свой маленький рост и худобу, Жак умудрился в считанные секунды добраться до центра мусорной вселенной. Он ловко выхватил йогурт,

* Клошар (во Франции) – нищий, бродяга, бомж.

Возле метро, как обычно, сидел странный человек, что никогда не разговаривает и выдалбливает лица из гальки. Жак, проходя мимо, как обычно, пнул пару камешков. Это уже стало его ритуалом.

кажется, с вишней, жестянку с сардинами и пачку бретонских галет.

Выйдя из толпы, он принялся стряхивать хлорку с продуктов.

«Совсем озверели эти бюрократы», – подумал он.

Дело в том, что год назад правительством были зафиксированы массовые отравления. Большинство из числа пострадавших были нищие эмигранты, которые питались из помоек магазинов. Тогда заботливое правительство выпустило закон: теперь все продукты с истекшим сроком годности посыпали хлоркой. Однако посетителей у мусорных баков от этого меньше не стало, а вот количество летальных исходов увеличилось вдвое.

Но Жака это не заботило. Он спустился в старый порт, вытолкнул спящего бомжа со своей любимой скамейки и принялся с удовольствием завтракать в компании дорогих яхт и рыболовецких суденышек.

«Не отдавать папку».

Жак любил Марсель, любил горячо и всем сердцем. Как историк он ценил его культурное наследие, а как бомжу ему нравилась доступность и простота этого города. Доев последнее печенье, он начал шарить по карманам и обнаружил там книгу.

– Ох, совсем забыл!

Слома голову Жак понесся к читальному жирафу, что находился напротив университета Экс-Марсель на Канебьере. Жираф – это марсельская уличная библиотека, где люди от 12 до 92 лет могут обмениваться книгами. Пробегая мимо зеркальной крыши (еще одной достопримечательности Марселя),

СДФ* задержался на минуту, чтобы поднять голову и увидеть свое отражение.

Возле метро, как обычно, сидел странный человек, что никогда не разговаривает и выдалбливает лица из гальки. Жак, проходя мимо, как обычно, пнул пару камешков. Это уже стало его ритуалом.

«Не отдавать папку».

Уже у самого жирафа Жак бережно достал книгу, смахнул с нее невидимые пылинки и поставил на полку.

– Ну-ка, что у нас есть сегодня... – Он принялся выбирать себе новую книжную подругу. – «Любовные письма», фу-у-у, чушь такая! О! Пруст, еще большая чушь... А это что? Хм, Сартр, давненько его не видел... А что за?... А... «Тошнота»! Это нам подходит.

Спрятав книгу во внутренний карман пальто, Жак поднялся на площадь кафедрального собора, где сидели его собратья по социальной лестнице.

– О, Жак, а мы уж думали, что ты подох, собака ты вшивая, – крикнул один из них.

– И вам доброго утра, – отмахнулся Жак, как бы показывая, что все присутствующие ему противны.

– Тебя Люк искал, – говорит ему второй.

«Не отдавать папку».

– А чего меня искать? Вот он я! Сам его найду.

На миг все клошары замерли, воцарилась тишина. Жак проследил за взглядами остальных и улыбнулся. По улице шла девушка. Она выделялась на фоне других людей: казалось, будто она идет на свадьбу или просто заблудилась. В Марселе так не одеваются. Оставшиеся клошары выстроились в ряд и стали дружно аплодировать.

Жак подошел к ней, поклонился, будто главный герой романа Дюма, и сказал:

– Мадемуазель, меня зовут Жак и теперь я ваш гид в этом черном городе. Если буду вам нужен, я всегда здесь! Старый Жак вас запомнил.

– Мерси, – кинула она быстро, наверное, боясь того, что кто-нибудь из них к ней прикоснется.

Она убежала, а СДФ еще долго свистели ей вслед.

– Ты к Люку-то сходи, – ткнул Жака все тот же клошар.

– Всенепременно!

Жак решил, что Люк подождет. Сейчас обед и самое время подзаработать денег. Он распутал веревку, на которой болтались консервные банки с разными надписями: на еду, на жилье, на гитару, на собаку.

– Черт, – выругался он. – Собака!

* СДФ – человек без определенного места жительства.

Ему срочно нужно было раздобыть собаку, ведь в ее стаканчик кладут больше евро.

- Малек, у тебя где собака?
- Убежала ночью.
- А у кого есть?
- У Расула.
- А где Расул?
- Наверное, как обычно, у вокзала.
- Спасибо.

Жак пошел на вокзал. Он долго бродил между платформами, провожая поезда в Париж, Тулузу, Лион. Для Жака сейчас было важно только одно – найти Расула. Клошар решил поискать его возле информационных стоек, где в этот час можно было найти много людей, для того чтобы:

- а) просить милостыню;
- б) обворовать.

Внутреннее чутье не подвело Жака. Расул сидел на мраморном полу с картонкой в руках, которая рассказывала его печальную историю. Жак подошел к нему и сел рядом.

- Расул, дай свою собаку.
- Нет, Жак, ты же знаешь, что с собакой больше дают. Нужен пес – иди и своруй.
- А если я тебе по уху дам?

Расул замолчал. Он как бы думал, что лучше – получить по уху или отдать краденую псину.

Жак улыбнулся. По его улыбке Расул понял, что уху его придется ой как несладко.

- Бери, – он кинул поводок, – черт бы тебя побрал! С таким характером ты долго не протянешь. Прирежут тебя где-нибудь в грязной подворотне.
- Ты больно много говоришь. За стаканчиком следи, а то и его умыкнут. За псину премного благодарен.

Через час чистый и новенький лабрадор весело махал хвостом, пока Жак раскладывал картонки и расставлял жестяные баночки. Собака была на месте, и ожидался хороший куш.

Жак довольно почесал за ухом у лабрадора и принялся за Сартра.

«Не отдавать папку».

Когда наступил вечер, старый клошар собрал картонки, пересчитал мелочь из каждой банки. Всего он собрал 50 евро:

- 25 евро – собака, 15 евро – еда, 4 евро – гитара, 6 евро – жилье. Ну что, неплохо мы сегодня заработали!

Было уже 8 вечера, когда маленький и худенький СДФ с собакой сидели в старом порту и ели теплую пиццу. Жак приправлял ее темным нормандским сидром. Мимо пробегали люди, иногда проходили па-

рочки, где влюбленные так мило держались за руки.

- Ну что, мой друг, пора тебя возвращать хозяйну. – Жак встал со скамейки и выбросил картонную коробку в мусорку.

Они снова отправились на вокзал. Найдя Расула все у той же информационной стойки, Жак всучил сонному клошару поводок и 20 евро.

- А это чо? – спросил удивленный СДФ, запихивая две десятиевровые купюры в карман куртки.
- Это за аренду собаки. Она хорошо поработала. Клошар улыбнулся, откашлялся и сказал:
- Тут тебя это... Люк ищет... «Не отдавать папку».
- Я уж знаю. Ладно, до скорого.

Жак пробежал взглядом по галерее вокзала: кто-то пил кофе в «Макдоналдсе» и, по традиции, с круассаном, кто-то проверял билеты и сверялся с расписанием, кто-то играл на пианино, которое специально приволокли на вокзал для того, чтобы ожидающие могли хоть немного развлечься. Иногда на этом выдающемся инструменте играли крайне скверно, но иногда находились настоящие мастера, которые заставляли инструмент издавать такую гармонию звуков, что весь вокзал замирал в ожидании следующей ноты.

Жак решил немного отдохнуть и присесть на кресло в зале ожидания. Он нашел одно свободное место возле девушки. Он присмотрелся: эта была та самая девушка, которую он встретил на кафедральной площади этим утром.

- Мадемуазель, это снова вы. – Старый Жак улыбался во все свои двенадцать зубов.
- Добрый вечер, – тихо ответила она.
- Мадемуазель уезжает?
- Да, на каникулы.
- Перед отъездом покормите старого Жака. Я не ел уже сутки, – сказал он лукаво.
- Посмотрите за моей сумкой?

Он кивнул. Она побежала в круглосуточный «Мак». Выбор ее пал на теплый гамбургер, картошку фри и два чая.

- Держите. – Она протянула клошару пакет и теплую кружку, а затем уселась рядом с ним и принялась пить чай.
- Вы, мадемуазель, меня совсем не боитесь?
- В вас много человеческого.
- Например?
- Глаза. Вы не способны на жестокость.
- Это все очень мило, но вы бы не доверяли больше местным клошарам свои вещи. Это я порядочный, а другим только дай пальчик – по локоть откусят.

Он идет к группе арабов и кричит так громко, как только может:

- Отпусти ее!
- А то что? Вызовешь полицию?
- Я сам себе полиция! – Он достает пистолет из-под пальто. – Люку сильно не понравится, что на его улицах промышляют какие-то грязные арабы.

Имя Люк действует на арабов магическим образом, и они начинают вести себя спокойнее. В глазах появляется страх.

Он стреляет одному из них в ногу. Тот, крича от боли, падает на землю.

- Ты кто такой? – спрашивает один из них.
- Это не твое собачье дело.

Он выстреливает другому арабу в ногу. Араб, что держал девушку, бросается в бегство.

Жак подходит к девушке. Она, отдышавшись, поднимается на ноги.

- Мадемуазель, вы же не первый день в Марселе, так чего бродите одна так поздно? Еще и в Ноае...
- Сегодня мой последний день в Марселе, решили отметить.
- Будьте осторожны. – Жак помог собрать цветы и вещи, которые арабы благополучно выпотрошили из сумки девушки. Он хватается за живот.
- Что-то не так? – спрашивает девушка.
- Нет, ничего... просто спина.
- Жак провожает ее до остановки.
- Жак, а кто вы? – спрашивает она.
- Он улыбается.
- Вы же знаете, я местный бомж... Живу на этих улицах.
- А этот Люк? Он тот самый, ну... который владеет северными районами?
- Он кивает.
- Вам не нужно знать лишнего. Ничего хорошего вам это не принесет. Везжайте из Марселя.
- Я послезавтра улетаю.
- А вы откуда?
- Из России.
- О-о-о, Путин, вперед!

Она улыбается. Вместе они доходят до старого порта. Остановка как раз возле стеклянной крыши. Жак прощается с ней и уходит...

Девушка прыгает в автобус и провожает Жака взглядом, пока фигура его не теряется в огнях пустынных улиц.

Жак чувствует, что силы его покидают. Он плетется вдоль старого порта к крепости для того, чтобы спуститься на скалы.

- Эх, ноги мои, вы только приведите меня к морю. – Он похлопал свободной рукой по колену.

Жак садится на мокрую гальку, поглубже вдыхает аромат Средиземного моря:

- Ладно, хоть не зря прожил эту жизнь. Пусть у той русской все будет хорошо.
- Он ложится на землю и поднимает голову.
- Столько звезд, пусть хотя бы одна светит для Жака... Хотя бы одна звезда для Жака... только одна...

Мужчина закрыл глаза, сознание начало его покидать. А на небе светило множество звезд, но одна из них горела ярче всех. Это была звезда для Жака.





ОЛЬГА НОВИНА

В той, другой жизни, что была до коронавируса, оказывается, было такое, что тогда казалось странным, а сейчас очень бы пригодилось. Как будто замечательные люди, что организовали октябрьскую «Тавриду» 2019 года, уже что-то знали про будущее: в просторной столовой при входе были аппараты для дезинфекции рук, посуда одноразовая, все общие собрания и большая часть занятий проходили на свежем воздухе...

На спецсеминаре «Искусство редактора» и на мастер-классах, которые я вела, ощущалась удивительная контактность участников. Разговоры о литературе каждый день выходили за рамки регламентированного времени. Казалось, что ты попал в идеальное будущее для каждого литератора: все всех читают, все хотят научиться лучше писать. Как будто литература не Золушка, как на Большой земле в современной жизни, а настоящая принцесса.

И никакой благостности по принципу *De mortuis aut bene, aut nihil*. Литература еще как жива! Особенно рьяными были дискуссии о том, как организовать литературный процесс.

Каждого участника хотелось за что-то поощрить. Например, Григория Панкратова — не только за оригинальную интонацию и критический взгляд на современную жизнь, но и за политический темперамент и бескомпромиссность. Ирину Михайлову — за вдумчивое исследование далеко не самой благополучной жизни простых людей. Марию Гурову — за умение театрализованно вторгаться в реальную жизнь.

«Таврида» — настолько прославленное литературное пространство, что причастных к ней творцов муз не сразу и перечислишь. Зато в личной судьбе современного литератора причастность к ней знакова: это и аванс, и поощрение.

БУХТА



ГЕОРГИЙ ПАНРАТОВ
Родился в Санкт-Петербурге в 1984 году. Вырос и учился в Севастополе. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ имени проф. М.А. Бонч-Бруевича. Автор трех книг прозы. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 2016 года (проза), победитель

Германского международного конкурса русскоязычных авторов «Книга года» (2018). Проживает в Севастополе и Москве.

Есть в Севастополе место, о котором многие, кто приезжает в город впервые, даже не догадываются. Правда, узнать в интернете о нем не составит труда, нужно просто набрать в поиске: «Пляжи Севастополя». Где-то в конце выданного поисковиком списка будет она – Голубая бухта.

Проблема для ленивого туриста в том, что Голубая бухта очень далеко от центра города, туда долго и неудобно добираться. Рядом Тридцать пятая береговая батарея, памятник истории. Но далеко не каждый, кто отправится туда, пойдет потом на маленький, спрятавшийся от всеобщего обозрения пляжик. Нужно знать, какими тропками обогнуть Тридцать пятую батарею, а чтобы знать, нужно спросить. Да и место почти дикое: из инфраструктуры лишь деревянная лестница, чтобы спуститься со скалы на узкое каменистое побережье.

Людей здесь всегда немного, но пляж забит, потому что он крошечный, человек тридцать – вот вся вместимость. Если разместиться у воды, может обдать волнами, если ближе к скале, то на голову сыпется известь и мелкие камешки; порой страшно, как бы не отвалилось чего побольше. Вода чистейшая, если отплыть подальше от берега. В очках для плавания можно понырять и посмотреть на морских жителей, всяких рачков, рыбок, возле больших камней – крабов.

Лежать на берегу и любоваться закатным солнцем, накупавшись, надыхавшись морем, выпив немного пива

в предвкушении вечера на Приморском бульваре – так мой простой отдых, пусть я и писатель и мысли о вечном мне не чужды. Так уж совпало, что я приехал в любимый город на сей раз не просто так: только на днях прошла презентация книги, меня спрашивали о важном, серьезном, болезненном для меня и страны. А теперь я лежу здесь и смотрю в небо. У меня пузо, пляжный зонтик и полосатая сумка, полотенце с акулами; я обычный отдыхающий, которого все достало и который ровным счетом ни о чем не хочет думать.

Это и так, и не так. Я не хочу думать, но думаю. «О чем ваша книга?» – спросили меня в этом городе. В моем городе, где я давно не живу толком. Ответ уже был заготовлен, я просто воспроизвел его: «Книга в том числе о прошлом. Каждый из персонажей разбирается в ней со своим прошлым, глядя в него из того настоящего, которое когда-то казалось лишь одним из возможных вариантов». Это было так. Мои герои расправлялись с прошлым, со своим личным прошлым, и это была глубоко личная книга, как улитка в раковину, она пряталась в саму себя. Эта книга была обращена внутрь себя, не к миру. И если признаться честно, мне сложно было говорить о ней хоть что-то, кроме того, что уже содержалось на ее страницах.

А сегодня, приехав сюда еще утром, я ощутил стыд. Мы стало стыдно, что к своим годам, считая себя севастопольцем, никогда не бывал здесь еще. Нет, я не о пляже, конечно, о Тридцать пятой бе-

реговой батарее. Здесь 75 лет назад разворачивались самые трагичные события в истории страны, в истории Второй мировой. Немцы захватывали Севастополь 250 дней и наконец захватили. Город был стерт с лица земли, но жители защищали его до последнего. До последнего отстреливалась батарея. Когда закончились орудия, стреляли холостыми. Командование покинуло город, бросив солдат без оружия и уцелевших жителей без воды и пищи на произвол судьбы. Отступить было некуда, со всех сторон атаковали немцы, спасения с моря ждали, но оно не пришло. Люди жались к этим отвесам, к скале, на которую я аккуратно поглядываю: не свалился бы камушек. Небольшая компаньонка разместилась рядом со мной, устанавливают мангал.

Людям не на что было надеяться, море, узкая полоска суши и скала, по которой шли с собаками и автоматами немецкие захватчики. По той же тропе, которой я, беззаботный, спустился сегодня сюда. Я отдыхаю сегодня там, где люди много лет назад встречали медленную и мучительную смерть.

Меня провели по тоннелю, ведущему от батареи к морю: длинный коридор с узкими стенами и низким сводчатым потолком, по которому и просто так, с экскурсией, пройтись страшно. Здесь лежали друг на друге раненые, здесь умирали без лекарств больные, здесь стонали от боли и молили о чуде, зная, что этому чуду не быть. А сегодня здесь иду я. Через час я войду в море. Приветливое, теплое, нежное, встречи с которым я ждал год.

Меня привели в пантеон. Здесь, как в планетарии, круглый купол и чернота. Только вместо звездного неба, планет, комет и созвездий лица людей: офицеров, матросов, медицинских сестер. Вот исчезает лицо, и на месте него свеча, вот исчезает еще одно, еще и еще, а ты стоишь, и над тобой уже только свечи, и вот гаснет первая, и вот гаснет вторая. А ты все стоишь и стоишь, автор книги, презентуемой здесь через 75 лет.

О чем я думал, купаясь, нежась в теплой воде и радуясь лету? Что вспоминал? А мне ведь тоже было что вспомнить. «Были такие весы на набережной... несколько лет назад, они говорили еще металлическим голосом: «Добро пожаловать, добро пожаловать»», – рассказывал я на презентации. Не знаю, как бы повел себя, окажись *там и тогда*... В те годы, один возле моря, а хуже – допустим, с женой, с родными. Без надежды. Не знаю, как повел бы себя теперь, случись это (не дай, конечно, Бог) сегодня. Я просто не знаю, у меня нет возможности это проверить, и я не хочу, чтоб такая возможность была. Не хочу, чтоб появилась ситуация, когда мог бы это узнать.

Но я понимаю, что эти люди, они были, конечно, смелее меня. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что обязан им. Тем, что могу приехать в этот город и презентовать свою книгу. Я подозреваю, хотя чего там, я это просто знаю, что моя книга мелочь, она и камня не стоит, лежащего здесь. Правда, не только она. Большинство, абсолютное большинство книг.

В свое время я много писал о Крыме, именовал себя гордо (как мне тогда казалось): публицист. Но моя книга была о другом, это были истории, призванные развлекать. И я честно сказал, что буду говорить о книге. Мне не хотелось паразитировать на том празднике, что случился для севавтопольцев несколько лет назад, выезжать на этой волне, становиться автором, который пишет о том, что Крым наш. Мне не хотелось быть рыбой-прилипалой, мне хотелось быть маленькой, но свободной рыбой.

Это был мой тихий праздник, тихая радость от того, что в мире, который я так давно знаю, случилась какая-то справедливость, что я имею возможность приехать в мирный город Севастополь и презентовать в нем свою мирную книгу. Я не писал о подвигах, не писал о великих делах и людях, да и сам не сделал толком ничего. Вместо этого я сочинил книгу, в сущности, маленькую, компактную. Книгу мирного времени. Ведь я и сам писатель мирного времени, его горестей и радостей, его реальных и надуманных проблем.

Я знаю, для чего я здесь. И я помню, что есть куда более важные вещи, чем это нехитрое развлечение – раскрыть книжечку, почитать. И, лежа на мирном пляже с дурацким пивом своим, в комфортных резиновых тапках, чтобы камни не резали ноги, я вспоминаю их. Эти светлые лица над моей головой, что через миг превратятся в свечи.

Они говорят мне: «А что сделал ты после нас? Написал книгу?»

И я отвечаю – не им, конечно, себе:

– Да, написал. Я любил и страдал. И жил. Моя жизнь пришлось на это время, и неизвестно, что еще мне выпадет. Мне и таким, как я, остается помнить. Я помню и чту вечный подвиг.

Я живу.



КЛУБ ЛЮБИМЫХ ДОЧЕК



МАРИЯ ГУРОВА
Аспирантка Литературного института имени Горького, режиссер Ростовского театра поэтов, победитель «Русских рифм» (2016). Автор сборников «Эпоха» и «Цветы нации». Публиковалась в сборниках «Энсмо-АСТ», «Литературной газете», журналах «Юность», «Лите-

ратурная учеба», «Южная звезда», «Москва» и т. д. Автор проента «Фронтальная бригада» (реконструкция агитационных бригад и театров времен Великой Отечественной войны) и сборника современной военно-исторической поэзии и эссеистики «Вечная мировая».

– Мне стыдно.

Я ощущала всепроникающий позор, держала его на своих плечах и даже клонила голову к коленям, как, вероятно, делали провинившиеся крепостные перед бариним. Я теперь бессовестная и бесстыжая, ужасная дочь, прости меня, мама.

– Прости меня, мама, – говорю я, с усилием поднимая на нее глаза.

Так себе ситуация: мне семнадцать, и я – разочарование. Я же знаю, что сейчас вспомнят все примеры того, как не надо жить: и кузена, который пробовал наркотики в секции по боксу, и прадедушку-гусара, который проигрался в карты и прокутил целое состояние (кому бы оно только сдалось через полвека в революцию, непонятно), и троюродного дядю-дебошира из истории под названием «Как Сема Кремль просрал». Теперь я, конечно, увенчаю этот список лучших представителей семейной премии Дарвина. Я, можно сказать, его возглавлю. Такого в роду не делал никто, я все понимаю.

– Я все понимаю, – продолжаю исповедь. – И больше так не буду.

Конечно, буду. Она стоит надо мной, стоит над душой, стоит на своем – молчит. Да сколько можно стоять, нагнетая? Обычно ведь ее не унять, а тут она одним (но всем) видом изображает порицание. Выделяет его вместе с норадреналином, видимо. И эта

затянувшаяся прелюдия из тишины, какой диктаторы любят начинать свои культовые речи, заканчивается вот этим ее: «Ты хочешь моей смерти». Блестящая фраза, изысканно сочетающаяся с «Вот я умру, с кем ты останешься? С папой? С друзьями своими, временными?». Во-первых, я всегда знала, что мама папу переживет, хотя она упорно обещала обратное. Во-вторых, мама совершенно не желает признавать или хотя бы замечать факт того, что инициатором всех спорных прожектов обычно являюсь я как неформальный и харизматичный лидер, имеющий в запасе упоительных идей на годы вперед. Не все друзья, знаете, такое переживут, поэтому они, конечно, временные.

Но мне стыдно, да. В общем-то, стыдно не за поступок, а за то, что моя мама – королева семейной драмы. А я обычно принцесса, когда слушаюсь.

Когда не слушаюсь, я народ и на фоне развешиваются алые флаги и играет «Марсельеза». «Ты хочешь моей смерти». Подожди, дорогая, пройдет много лет и подобных поступков, прежде чем мы станем принимать их как данность. А сейчас обязательно нужно рыдать. Когда она начинает плакать, мне становится по-настоящему совестно. В этом смысле любого бунта: сделать по-своему и раскаться после победы, иначе грош цена вашей революции. У меня в голове Тамара Бунке подбрасывает монетку с надписью *Patria y libertad*. И та падает

Но мне стыдно, да.
В общем-то, стыдно
не за поступок, а за то,
что моя мама – королева
семейной драмы.
А я обычно принцесса,
когда слушаюсь.

победой Фиделя Кастро. Но мне, в общем, до них далеко. Спустя пять лет такая матушкина истерика повторится по совершенно иной причине. Я поступлю на журналистику, желая стать военкором, хотя мама понадеется, что все же – художественным критиком, потому что про мой культивированный милитаризм она тогда еще не будет знать. Когда же судьба введет ее в курс дела, аккуратно перед возможной поездкой, мама сорвет ее такой пошлостью, как неповторимый скандал с имитацией инфаркта. Если у вас есть история про то, как вы кем-то не стали, то добро пожаловать в мой клуб любимых и единственных дочек. «Привет, меня зовут Маша, я поклялась маме, что никогда не поеду на войну». В общем, сами понимаете, мои шансы реализовать свои профессиональные планы становятся возможны, только если война придет ко мне, а я такие расклады не поощряю. Это все ладно, это все неизменно. С этим точно уже ничего не поделать.

- С этим тоже уже ничего не поделать. – Я ставлю маму лицом к реальности и тут же пытаюсь защитить от нее, обнимая.
- Ты себе жизнь испортила. – Она утирается рукавом халата. – Ты не сможешь работать. Ни на одну государственную должность тебя с этим не возьмут. Считай, зэчка. Кому ты вот такая нужна?
- Мама, тебе. Но на этом жизнь не заканчивается, алло! И я не собираюсь работать в госорганах.

В общем, в тот день мне было стыдно за то, что довела ее до слез. Но если честно, несколько не стыдно за то, что у меня появилась эта классная татуировка.

ГОЛОС

РАССКАЗ



ИРИНА МИХАЙЛОВА

Родилась в г. Люберцы. Оночила Литературный институт имени Горького (семинар прозы А.Е. Ренемчуна). Входила в лонг-лист премий «Дебют», «Лицей», лонг-лист конкурса «Русский Гофман», в шорт-лист премии «Этноперо».

Лауреат международной литературной премии «Радуга» в номинации «Молодой автор года», победитель конкурса «Всемирный Пушкин», лауреат литературной премии «В поисках правды и справедливости». Участник многих литературных семинаров и форумов. Член Союза писателей

Москвы. Работает учителем русского языка и литературы. Живет в Москве.

Толстая некрасивая девчонка ревет, судорожно сжимая руками горло. Лицо – красное от стершейся помады, с черными пятнами от туши. Вместо голоса – хриплое страшное шипение.

– Шире открой рот! Шире! Что ты жмешься?! Ты петь пришла или рыдать? – орет на нее директриса – женщина, которую все ждут, все боятся, все мечтают попасть к ней на прослушивание.

Дверь зала открыта – и мы все видим, как девочка стоит навтыжку и, пытаясь быстро успокоиться по знакомым с детства упражнениям, снова и снова начинает свою арию. И снова и снова срыгается.

Директриса гремит:

– Следующий!

Мы стоим в очереди. Девочки, только что окончившие школу, и один парень. У парня бас. Его точно возьмут – парней всегда не хватает. А нас – десять. И всего одно место.

Полчаса назад директриса ходила мимо нас и всех оправляла.

– Покороче не было? – одергивала она подол чье-то мятого заношенного платья, которое едва достает до колен. – Петь надо выходить в концертном, а не в этом рванье.

Смотрела на худые шиколотки, торчащие из-под джинсов, и кроссовки.

– А шорты чего же не надела? Вас кто одеваться учил? Вы из какой деревни приехали? Вы входите в зал! В зал! Вы понимаете это?

Она вскидывала руку вверх так, как будто через эти деревянные разошедшиеся двери мы попадем в Большой театр, а не в маленькую душную комнату с потрескавшимся роелем.

– Следующий!

Медленно, с достоинством, идет высокая девочка в длинном черном платье. Мы прижимаемся к двери. Нас уже восемь, и мы думаем – а вдруг она? Вдруг одно-единственное место достанется этой – красивой, на каблуках, с русыми волосами и густо накрашенными глазами?

– Представьтесь, – говорит директриса.

Она сидит подальше от раскрытого окна, чтобы не продуло, подальше от рояля, чтобы не мешал. Она слушает.

– Лена, – гордо говорит девочка и вскидывает голову.

– Лена... – передразнивает директриса. – И на сцену так же выйдешь – «Лена»... Фамилия, отчество.

– Синицына Елена Николаевна. – Голос уже дрожит.

– Что представлять будете, Елена Николаевна?

– Песню.

Директриса вздыхает. Песню... Нет такого понятия в опере. Ария. Оперетта.

Мы, толкаясь, всматриваемся в щелочку. Лена поет. Директриса качает ногой. Когда она качает ногой – она недовольна. Это уже все знают – первокурсники доложили. Директриса смотрит в окно и морщится, как от зубной боли. За окном – июнь. Все лето впереди. Вся жизнь. А кажется, что есть только эта минута. И не было ничего до. И не будет после.

Лена поет.

– Спасибо! – Ее прерывают. – Все понятно. Следующий.
– Голос есть, – уже когда Лена вышла, – но... не то, не то. – Директриса вздыхает.

Она тучная, в ярком желтом платье и шелковом шарфе, который она набросила на толстую шею. Шея всегда закрыта. Простужаться нельзя. Голос, хоть уже и не поет давно.

– Как думаете, кого выберут? – галдят в перерыве девочки.

Здесь всегда шумно. Распеваются, разыгрываются, тянут связки, делают упражнения, наигрывают на рояле.

– Говорят, будут спрашивать про известных вокалистов. Давай погуглим.

– Русских?

– Ну, наверное...

– Шаляпин, Вишневская, Архипова...

– А у тебя какой голос?

– Меццо-сопрано? А у тебя?

– Колоратурное...

Колоратурное – редкость. У Марии Каллас было колоратурное сопрано. И Мария Каллас его потереяла. Об этом мы никогда не говорим. Это – запрещенная тема. Об этом – только маме, ночью, чтобы никто не услышал.

– Иди! Иди! Твоя очередь!

Я иду в зал. Встаю напротив нее. Представляюсь. Начинаю петь.

Голос сразу несется вверх. Я распевалась, как и положено, тридцать минут – не больше. Голос бежит, как волна. Я думаю о море, об Италии, про которую сейчас пою. Голос уже далеко отсюда – отражается от раскаленных камней и уносится дальше. Жаркий Рим, фонтаны, вода, Святой Петр, стены, узкие улицы... И вдруг. Голос замирает. Он зацепился. Он не может освободиться и полететь дальше. Он боится, он мечется вокруг себя, запутываясь все больше. Он сорвался.

И уже не голос, а жуткий хрип, который слышно сейчас всему коридору, всей Москве, всему миру, летит вниз и падает, разбиваясь сухим кашлем.

Она качает ногой. Она качает ногой. Я уже не вижу ничего – Италия рухнула вместе с моим предательским голосом. Она качает ногой.

«Пошла отсюда вон», – хочет сказать она.
– Следующий!

Потом мы стоим все той же очередью к ней в кабинет.

Директриса сидит в кожаном кресте, и ее лоб блестит от пота. На столе фотография молодой – на сцене какого-то театра. На стене рыжие афиши двадцатилетней давности.

– Мать есть? – спрашивает она меня.

– Есть.

– А отец?

– Тоже.

– Работает где?

– В фирме своей. Юрист.

Я все вру. Нет у меня никакого отца. Мать одна – регистратор в поликлинике.

– Сто тысяч в семестр потянете?

Я быстро-быстро киваю.

Она протягивает мне договор и квитанцию.

– Отдашь матери на подпись. В сентябре жду.

– Спасибо, – шепчу я судорожно.

– И хватит ныть. Ты вокалистка, так что нечего мне тут сопли разводить. Шоколад любишь?

Я мотаю головой.

– Правильно. Забудь. Тебе нельзя. Запомни – тебе теперь ничего нельзя.

Я выхожу на улицу. Только начало июня, и еще все лето впереди.

Мне интересно – а кого возьмут на бесплатное? Кто – эта девочка?

Кабинет директрисы на первом этаже. В открытое окно я вижу ее и какую-то девочку рядом. В белом платье в пол, с высокой прической, взгляд еще детский, но уже гордый. Она совсем не похожа на всех нас. Она не смотрит на директрису, не смотрит в ноты, она не боится, что голос сорвется, она знает, что будет петь и что ее будут слушать. Она закрыла глаза. Голос не дрожит, не мечется по кабинету, не улетает, он плавно висит в воздухе, как облако, над всеми нами, и то опускается, то поднимается, но всегда ровно, как и должно быть. И я понимаю – до нее нам всем еще очень далеко.

Директриса не качает ногой и не кивает одобрительно. Она просто слушает. И я стою и слушаю. И все вокруг замерло и слушает. Ее голос.



ЕКАТЕРИНА МАТЮШНИНА

Побывать на «Тавриде» стало заветной мечтой для одаренной молодежи, и это понятно! Ведь «Таврида» открывает двери в мир творчества, свершений и побед. Здесь можно встретить единомышленников, пообщаться вживую со своими кумирами — ведущими культурными деятелями страны, а главное — здесь можно учиться! Учиться профессии не у теоретиков, а у практиков, которые добились в своем деле ошеломляющих результатов. Немудрено, что после «Тавриды» ребята открываются мечтой, их знания увеличиваются, а главное — появляются цель и понимание, как можно добиться успеха.

Мне же посчастливилось не просто побывать на «Тавриде», а вести курс литературы у молодых литераторов. Ребята, приехавшие на смену, оказались не просто талантливыми: они были работоспособными, увлеченными литературой, умеющими писать и нацеленными на успех.

Днем я преподавала теорию: раскрывала секреты писательского мастерства, построения сюжета, приемы работы с текстом и делилась опытом, а после мы до ночи обсуждали сюжеты, придумывали удивительные повороты и работали над стилем. Итог получился впечатляющим: из группы 25 человек половина написала замечательные рассказы.

С удовольствием представляю работы Екатерины Жарковой, Вячеслава Шевченко и Дарьи Ульяновой. Уверена, что за этой публикацией будет множество других. И вскоре эти имена выйдут на книжный рынок и займут там достойное место.

ДЕНЬ СИ



ЕКАТЕРИНА ШАРНОВА
22 года. Родилась в Воронеже, писать начала с четырех лет, серьезно увлеклась в восемнадцать. Окончила архитектурно-строительный университет, но выбрала строить истории, а не дома. Пишет стихи и прозу, преимущественно в жанрах магического

реализма, фэнтези, фантастики. Участник и победитель литературных конкурсов, поэтических чтений.

На первый взгляд – довольно обыденно. Мне, как и всем, предстояло сделать выбор.

Почему, черт возьми, это так сложно? Я поднял голову, пытаюсь разглядеть хоть одну звезду, но бесполезно: все забивал мертвенный свет неоновых огней. Холодный ветер случайным порывом вцепился в волосы, пару раз кашлянул в лицо отвратительной вонью дешевой просроченной еды, автомобильным смогом, тяжелой смесью парфюмов с запахами человеческих тел и духом сырых переулков с едва угадывающимися нотками редкой зелени. Затем, подобно астматiku, на время забывшему про большие легкие, смазанно осекшись, задохнулся за уличным поворотом.

Со времен первых шагов по земле существа, именующие себя людьми, склонны к полярно противоречивым вещам. Неоправданная жестокость, граничащая со святостью добродетель, желание саморазвития и низкая тупая склонность к деградации нередко способны уживаться в одном теле, хаотичным образом сменяя друг друга на всем протяжении затяжного пути к могиле. Несмотря на то что наши души представляют собой ядреную смесь уникальных качеств, являясь одновременно зловонной ямой и вселенским откровением, испокон веков было то, что нам делать трудней всего.

Ждать и выбирать.

Именно этим я сейчас занимался.

Шел двадцать восьмой год, как ввели Лицензии на убийство.

Примечание.

Лицензия на убийство – неоспоримое право каждого человека раз в жизни совершить не караемое законом преступление со смертельным исходом для любой выбранной жертвы в День Си. Может быть использовано или не использовано на усмотрение обладателя Лицензии. Наказание за умышленное превышение границ действия единичного права – смертная казнь.

Во время смуты конца двадцать первого века из-за неконтролируемых промышленно-радиоактивных выбросов с производственных предприятий и стремительного ухудшения экологии повсеместно участились вспышки психических расстройств, случаи массовых сумасшествий, очаги восстаний и терактов, потрясших все цивилизованное общество, а также увеличилась безработица, связанная с перенаселением. Наиболее актуальной стала проблема «лишних людей». Одна из крупнейших партий Японии, Mirai, базирующаяся в Токио, в то время активно продвигала радикальную идею Лицензии как способ массового усмирения. Законодательно

заверенное право, при котором каждый опасался лишний раз задеть другого, чтобы не оказаться на следующее утро с перерезанным горлом в собственной гостиной.

– Мы сами выбрали Лицензию, – сказал однажды мой отец, буднично складывая газету, – иначе было нельзя.

Жертвой может быть кто угодно. Политик, артист, булочник в Сугинами, недавно открывший свою лавку, хулиган, нанесший неизлечимую детскую травму, один из неверных супругов, кинувший косою взгляд случайный прохожий или родной брат – неважно. Главным условием является то, что гражданину, решившему прибегнуть к Лицензии, никто не должен помогать или мешать. Как и спрашивать о том, использовал ли он свое право.

Примечание.

День Си – одни сутки в году, отведенные под возможность прибегнуть к Лицензии. Назначается индивидуально каждому гражданину Японии при рождении. Категорически запрещено разглашать дату своего Дня Си.

Программа выбирает наш судный день, она же регистрирует законные или противоправные смерти.

Да, та улыбающаяся девушка, принимающая букет цветов из рук смущенного молодого продавца за пару минут до закрытия магазина, вполне могла уже кого-то убить. Никогда не знаешь.

Точно так же улыбалась Киоко, когда я впервые встретил ее.

Я достал сигарету и попытался поджечь. Сырой табак плохо занялся; за эту ночь меня уже дважды поливал дождь. С горем пополам затянувшись и выпустив отравленный дым из легких, я сплюнул, растянув непослушные губы в жутком подобии усмешки. Конечно, законом прописаны жесткие санкции в отношении тех, кто захочет купить или продать свое право на убийство. Но смельчаки находились. В мои обязанности, как одного из невольных последователей, вписанных в ряды Mirai, входила поимка таких. Страж порядка нового мира. Оружие правосудия. Герой, с малозначительной поправкой на мертвую мораль.

Киоко... Когда она смеялась, вокруг карих прищуренных глаз собирались маленькие морщинки. Они не уродовали ее лицо, скорее, наоборот, делали его солнечным, родным.

Несколько раз меня пытались подкупить. Предлагали суммы, от которых у любого другого перехватило дыхание и пот выступил бы на трясущихся ладонях. Умоляли помочь бежать из города, страны,

помиловать, оставить в покое, до последнего не желая верить, что я окажусь глух и слеп к убеждениям. Возможно, виной всему были мои устаревшие принципы – в глубине души я надеялся на отмену Лицензии, так как убийца на дух не переносил. Иногда презрение к пойманным перехлестывало через край, я неделями мыл руки, соскребая с кожи их отчаянные прикосновения, а порой... я запоминал преступников на всю жизнь. Серые, полные мертвой пустоты глаза мужчины, прикончившего двух насильников своей младшей двенадцатилетней дочери, еще долго прожигали меня своей неизбывной болью во снах. Он не скрывался, сам вышел мне навстречу. Как ни велико было искушение отпустить, позволить вернуться к семье, привести его на суд было моим долгом. Я никогда не давал пощады убийцам, зашедшим дальше положенного. Лишь один ускользал от меня раз за разом, все время оставляя на шаг позади.

До полуночи, с которой брал отчет мой День Си, оставалось чуть больше получаса. Отклеившись от стены, я позволил себе короткую вылазку до круглосуточной забегаловки и обратно – взять дрянной, но горячий кофе.

Терпкий напиток обжег губы, как когда-то первый поцелуй Киоко, неугасимая страсть в которой пробудилась моей настойчивой любовью. Я растворялся в ней с той же стремительностью, как сейчас дешевый сахар в бумажном стаканчике, вяло брошенный туда нетвердой рукой уставшего от дневной смены торговца, не подозревающего о сакральном для меня смысле. Тогда, сжав ее в объятьях, я не мог поверить, что высшее счастье доступно человеку, подобному мне. Казалось, я полностью уверился, что ради этого мгновения стоило родиться. Ее запах, ее волосы, в которые всегда хотелось запустить пальцы, зарыться носом и однажды встретить счастливую старческую смерть.

Спустя два года счастья я держал в руке до боли знакомую прядь на месте зарегистрированного программой убийства. ДНК-тест подтвердил, уничтожив слабую надежду. Тогда во мне что-то хрустнуло, сломавшись навсегда. В месте, где раньше было сердце, поселилась ноющая тупая боль. Хотелось выть, раздирая кожу.

Хотелось сдохнуть.

В любой программе существуют ошибки. Убийца, чей путь через несколько минут пересечется с моим, не похож на других. Я потерял много време-

ни на пустые поиски, прежде чем уловил связь между жертвами и системность его действий. Сначала я думал, что кто-то незаконно нанял около десятка людей с незакрытым правом для своих целей, и потому безрезультатно ходил вокруг да около. Проверил всех, чей капитал позволял повернуть такое, прежде чем понял, что меня искусно водят за нос. Количество жертв не совпадало с количеством людей, воспользовавшихся Лицензией. Кто-то планомерно убивал всех членов Mirai, одного за другим. Озарение ударило в мозг так неожиданно, что я некоторое время сидел, оглушенный, неспособный пошевелить даже пальцем.

Поломанный, сбитый код.

Исключение из правил.

Единственный, чья Лицензия не ограничивалась одной смертью.

Программа не регистрировала сбой как противоправный. В свой День Си он мог убить столько, сколько пожелает, и уйти незамеченным, вне подзрения.

Вдвойне иронично, что мой День Си совпадал с его.

Я допил почти остывший кофе, смял стаканчик и, не глядя, швырнул прочь. Что толку беспокоиться о биоразлагаемой бумаге, которая через пару часов расплзется мокрым пятном по асфальту, а наутро разнесется в клочья ботинками всех форм и размеров, когда твоя жизнь точно так же иссушена и изорвана?

Я собственноручно закрывал глаза отцу, безмолвно прощаясь с ним еще до похорон. Порой его кровь на моих пальцах в особо беспокойные ночи перед рассветом снова алеет на коже, будто настоящая. Когда я обнаружил труп, тело уже успело остыть. Точно так же, как сегодня, кратковременными промежутками, лил отвратительный, пробирающий до костей дождь.

Мой старший брат, напротив, был убит при свете солнца. Холодный, равнодушный зимний луч застыл в неподвижных зрачках, как и мое перекошенное от бессильной злобы отражение.

Моих близких одного за другим отнимало проклятое число на календаре; я возненавидел дату своего Дня Си.

Именно эти совпадения заставили меня вгрызться в работу с остервенением раненого волка, найти ответ и в итоге выйти на след. Сегодня, несмотря на всю свою принципиальность, я принял решение воспользоваться Лицензией. Сегодня я сам стану тем, кого ненавижу. Убийцей.

Полночь подкралась столь же незаметно, как и едва различимый звук шагов в переулке. Я ждал их. Как удобно. Никого не нужно выслеживать, зная, что цель ты.

– Пунктуальность всегда была одной из тех черт, которые я любил в тебе.

Я повернулся, улыбнувшись. Киоко стояла неподвижно, спокойная, как дьявольское возмездие. Такая же красивая. Такая же родная. На мгновение я забылся, борясь с желанием измученного сердца предаться секундной амнезии и обнять ее, как когда-то прежде. Весь ее облик настолько прочно связался в моей памяти с чем-то божественно любимым, что даже пистолет, зажатый в маленькой руке, не сразу разбил мерзлую пелену воспоминаний.

– Почему, Киоко?

– Потому что так надо, Тэкэхиро. – Казалось, я уже целую вечность не слышал ее голоса. – Кто-то должен. В Mirai придумали Лицензию. Мне был дарован шанс, уникальный, единственный. Ошибка, что станет спасением. Я буду той, кто уничтожит это право навсегда.

– Так надо... Говоришь, как мой отец. – Я широко усмехнулся, получилось кривое подобие улыбки.

– Не смей упоминать его при мне. – Киоко едва дернулась и тут же вернула себе спокойствие. – Он был в числе тех, кто подарил миру право убивать. И заслужил подобной участи. Как и твой брат, последовавший за ним. Всегда легче разрешить смерть, надеясь, что она не придет за тобой.

– И сейчас ты пришла за мной. Скажи, любовь, что ты мне дарила, была частью плана?

– Сначала да. Потом нет.

Почему-то я знал, что она не лжет. Такое выражение лица и глаз бывает только у тех, кто ощущает себя праведником и искренне верит в истинность своих действий. Я уже видел такое не раз, когда ловил убийц прежде.

– Я надеялась, что однажды ты перестанешь идти на поводу у Mirai. Раз нет возможности бороться с системой, нужно сломать ее изнутри. Видела же, что тебе противна идея узаконенного кровопролития. Но ты не решился. Ты делал все, что они говорили, а значит, был не лучше их.

– Ты словно убеждаешь себя, что я хуже, чем есть. – Я опустил голову и посмотрел на нее исподлобья. – Знаешь же, я всегда ненавидел убийц.

– И теперь ненавидишь меня.

Мне хотелось ответить иначе. Мне вообще хотелось, чтобы все было иначе.

– Верно. Так происходит, когда кто-то убивает чьих-то близких. Если хочешь знать, я все понял, когда нашел твои волосы рядом с трупом отца. Так любил тебя, что обещал, что везде узнаю их... Это было чертовски больно, ведь в тот день мне пришлось хоронить сразу двоих.

Я сделал пару шагов и вновь поднял голову к небу. Ни единой звезды, как назло. Хотя бы без дождя. Токио спал и видел сны. Как минимум в трети квартир Японии сейчас мирно, укрывшись одеялом или пледом, в кругу семьи или в одиночестве, мерно дышали убийцы, сделавшие свой выбор. Как и я только что сделал свой.

Киоко стояла, обманчиво неприступная, несмотря на оружие. Я знал, как выбить его, оставив противника не более опасным, чем беззащитный котенок.

– Знаешь, ничто не делает мне больней, чем осознание, что однажды ты проверила свою уникальность. Ведь вместо того, чтобы встретить любовь на залитом солнцем пляже, я мог скрутить ей руки, ведя на эшафот. Но система дала сбой на твоём втором убийстве, и мы оказались там, где оказались. Четыре года назад было зафиксирована первая насильственная смерть члена Mirai, затем, через год, вторая, думаю, как раз на ней ты НЕ попала. Я заметил, ведь мы с тобой настолько совпадаем, что даже Дни Си у нас одинаковые.

При последних словах Киоко резко напряглась, выставив пистолет уже не нападающим, а, скорей, защитным жестом. Она поняла, что сегодня я могу использовать Лицензию.

– Если тебе интересно, тогда мой отец не мог ничего сделать. Ему четко дали понять, что знают, где живет моя мать, беременная первым ребенком. А брат всю жизнь работал над отменой Лицензии и ко дню перед своей смертью уже склонил на свою сторону больше половины членов Mirai. Несмотря на его кончину, их уже ничто не заставило изменить решение...

Одним точным движением я выбил оружие из рук Киоко, другим подхватил и направил на нее.

– Так что ты сделала именно то, против чего боролась.

Девушка была похожа на загнанного зверя. За одну секунду я увидел, как рушится целый мир, выстроенный на надеждах и вере. Очень знакомо.

– И что теперь? – тихо вырвалось у нее. – Убьешь меня? Станешь тем, кого ненавидишь?

Я пытался сейчас найти в ней черты любимой Киоко, моей Киоко. Но не осталось ничего.

– Записи о тебе я уже отправил в отдел, если не выйду на связь через десять минут, сюда выедут. Я дал себе слово, что сегодня использую Лицензию, и не собираюсь от него отказываться. Знаешь, я столько раз пытался выгнать тебя из своих мыслей, но ты всегда возвращалась. Несмотря на всю ненависть и боль, ты была в нем тем чистым образом, незапятнанным лучом света, который слишком далек от реальности.

В глазах Киоко застыли слезы, я понял, что только что сломал не только ее веру, но и ее саму.

– Беги как можно дальше, у тебя есть еще пять минут свободы.

Жалкая, как кукла с обрезанными ниточками, пародия на человека, она бросилась прочь, неловко, почти карикатурно скользя на замерзающем от ночного холода мокрым асфальте, будучи первой из убийц, что я отпустил. Пусть и ненадолго.

Я знал способ, как избавиться от Киоко. Устремив взгляд в небо, приставил пистолет к виску. Сегодня мой День Си, и я выбрал человека, которого хочу убить.

А чертова звезда все-таки появилась.

Выстрел.

Примечание.

Си – Смерть (японский). Дословно День Си переводится как «День Смерти».

Mirai – «будущее».



МЫШКА



—
ДАРЬЯ УЛЬЯНОВА
 Родилась в прошлом столетии на родине Ленина, в Москве научилась говорить на трех языках и теперь готовится к работе в Скандинавии на благо отечественной дипломатической службы. Ранними утрами пишет очерки — прежде, чем онунуться

—
 в тонности международной политики. Влюблена в Север, литературу и своего рыжего нота.

Прежде чем открыть дверь, Вера долго медлила.

Тяжесть тянула голову со сна. Маленький шаг вперед в сумраке коридора — под ногами скрипнули старые доски. Вера долго и молча смотрела на глухую деревянную дверь, и глазка не надо было, чтобы знать, кто стоит там, по другую сторону.

Стук повторился. Раз-два. Раз-два. Раз. В детстве они смеялись: будто бы кто-то хотел постучать три раза, но на последнем задумался и забыл.

Рука не сразу нашарила ручку. Вера открыла дверь.

Свет бьет в глаза. Рюкзак стоял у Пег в ногах: ждет давно. Не поправилась. Не постриглась. Не повзрослела. Улыбается так же — левый уголок губ поднимается выше правого. Вздернутый нос, родинка над бровью, глаза заставляют вспомнить о лошадях: глубокие, черные, влажные, и по форме как миндаль.

За спиной у нее, из-за леса, поднимается, дрожит солнце, и кажется, будто нимб ее запутался в гриве волос.

— Пустишь?

Голос. Она всегда говорит, будто смеясь. Даже если плачет. Вера сделала шаг в сторону, прижалась лопатками к стене. Обдало запахом свежести, автобуса Стокгольм — Кируна и жасминовыми духами. В узком коридоре кудрявая светлая грива задела лицо. Пелагея закрыла дверь, пихнула рюкзак ногой

к стене, расшнуровала ботинки, бросила у порога. Выпрямилась, нашарила выключатель — счастливое красное лицо.

— Ну здравствуй, что ли, — выдохнула.

— Здравствуй, — тихо сказала Вера.

Она бы давно отреагировала, если бы знала, как. Пег, очевидно, в таких вещах ориентировалась лучше: порывисто обняла ее за плечи, заговорила. Как всегда, ни о чем, но бойко, со знанием дела. Вера молча нашарила под вешалкой носки, приняла пальто цвета еловой иголки, отодвинула в угол рюкзак. Мысли путались. Слишком много. В этом доме даже ее одной было немного больше, чем достаточно.

Сказуемое в горле долго согласовывалось с подлежащим.

— Ты проходи.

— Спасибо!

На кухне Пег натянула носки, подпрыгивая на одной ноге и все еще не умолкая. Вера осторожно прислонилась к столешнице.

— Как там?

Наверное, надо поставить чай... Повернувшись к сестре спиной, легче было слушать, что большой мир живет, и Москва стоит, и по телевизору все еще идут новости часа. Телевизор. Дикость. Приподнявшись на цыпочки, Вера долго, с минуту, смотрела на единственную кружку на полке.

– Ты приехала ко мне за помощью. – В голове кружится одно то же.

– Мышка!..

– Я не Мышка! – Голос выходит с предательской истеричной интонацией, Вера прижимает ладонь ко рту, сзади скрипит стул, она чувствует, что вот-вот рука с тонкими пальцами тронет ее за плечо, и кричит еще громче: – Уходи!

И потом, не поворачиваясь, еще раз:

– Уходи!

Вера думает сначала, что Пег бросится к ней, начнет говорить что-то, так, как всегда говорит, когда волнуется, быстро, перескакивая через слово, но этого не происходит. Отодвигается стул. Шаг, шаг, шуршание в коридоре, скрип двери.

Тишина.

Часы тикают очень громко. Вера медленно подставляет стулья к столу: один, другой. Берет кружки, несет к раковине. Вода в большую алюминиевую кастрюлю наливается по самый край. Вера опускает руки в воду – запястья ломит от холода – и трет у кружки ободок, не взяв в руки губку.

* * *

По-моему, я очень красивая.

– Ты самая красивая. – Вера улыбается и осторожно разделяет расческой кудрявые пряди сестры.

Пелагея смотрит на себя в зеркало с удовлетворением, приподняв подбородок; на ней простого кроя зеленое платье с длинным рукавом и малахитовое Веркино ожерелье. Пег вытягивает шею так, чтобы было видно ямочку на ключице, и улыбается с торжеством.

– Говорят, если глубокая ямочка на ключице, будешь счастлива в любви, – говорит она.

Вера улыбается, откладывает расческу. Волосы Пег густые, тяжелые, косы плетутся легко.

– Ну конечно.

Пелагея задирает голову, чтобы видеть ее лицо.

– А у тебя есть ямочка на ключице?

– Не вертись, – командует Вера. – Ты хочешь кривые?

Пег опускает голову, но продолжает смотреть на Веру в зеркало.

– Так есть или нет?

Вера целует сестру в пряно пахнущую шампунем макушку.

– Зачем мне ямочка, если у меня есть ты?

Пелагея смеется и смотрит на свое отражение.

Вера тоже смеется.

– Верка, ты будешь в нашем доме жить на первом или на втором этаже?

Чистые волосы струятся сквозь пальцы.

– А мы с тобой будем жить в одном доме? – интересуется Вера.

– Ну конечно! – Пег резко поворачивается к ней на стуле, Вере с трудом удается не выпустить из рук почти законченную косу. – На Севере. Ну на Севере же, Верка?

Вера опускает глаза. Улыбается. Движением руки поворачивает сестру лицом к зеркалу.

– Как же ты будешь тогда счастлива в любви, моя дорогая?

Пег хватая ртом воздух, как всегда, когда мновенно, с запалом выстреливает ответ, но не говорит ничего. Думает. Вера смеется и кладет подбородок ей на макушку.

– Нужно будет обязательно предупредить твоего будущего мужа, что наличие меня – неременное условие брачного контракта.

Пег хихикает и гладит пальцами бусины ожерелья.

* * *

Не закрыла за собой дверь – в кухню тянет холодом. Никогда не закрывает за собой дверь. Вера выливает воду из кастрюли, вытирает столешницу, ставит свою кружку на стол, а вторую берет в руки и долго смотрит на нее. На Верином лице в этот момент не отображается ничего. Совершенно ничего. На белой кружке надпись ИКЕА и красные олени. Ну конечно.

Вера ставит кружку на стол и выходит в коридор. Не глядя тянет правую руку к крючку, надевает пуховик; пуховик пахнет деревом и чем-то горелым. Ноги туго влезает в валенки без калош. Вера переступает через порог и щурит глаза. Щеки схватывает морозом. Море так близко, что его слышно; тишина просвечивает глубинными вздохами волн. Волны дышат быстрее, чем Вера. Ветер схватывает волосы, бьет в лицо. Небо кажется прозрачным, будто цвет его стек в море, и море стало темно-сапфировым, белопенным. Вера стоит долго. Чайки чертят по бесцветному небу крыльями, подальше направо море бьется плечами о валуны. Вера закрывает глаза, чувствуя, как мороз режет щеки и пальцы, покрасневшие, как сваренные.

* * *

– Мама?

Воздух на кухне можно резать ножом. Табачный дым висит серым маревом, в легких сразу першит и хочется чем-то прикрыть нос. Мать стоит, при-

слонившись к столешнице бедром, красиво сложив руки; на фильтре ее сигареты – следы от помады.

– Мам? – повторяет Пелагея.

Мать переводит на нее взгляд и молчит. Стряхивает пепел на столешницу. Молчит.

Пег терпеливо ждет окончания паузы.

– Меня переводят в Москву, – бросает мать.

– В Москву? – охает Пелагея.

Мать кивает, не глядя на нее.

– Двухкомнатная квартира на Ленинградском. Две станции до кольца.

Внутри у Пег вспархивают большекрылые бабочки. Она прижимает ладони ко рту.

– Господи... Господи!.. А как же... – Пег всплескивает руками, улыбка от уха до уха загорается на лице. – В Москву!..

Мать улыбается. В улыбке не радость, но торжество. Пег не глядя садится на стул, охает, сияющие глаза беспокойно бегают по комнате.

– Москва, мама!.. Как же так вышло? Где ты будешь играть? Ленинградский, кажется, я помню... Божечки, в Москву, мы едем в Москву!..

– Значит, в Москву.

Пелагея оборачивается. Вера стоит в дверях, обутая, в куртке – только с работы. На плечах висят помятые провода наушников.

– Значит, тут едут в Москву? – спрашивает она еще раз без выражения на лице.

Пелагея мешается, откидывает со лба волосы:

– Подожди, это еще не решенное, конечно, но...

– Но за Пелагею обещали замолвить слово в архитектурном, – говорит мать, разглядывая горящий кончик сигареты.

Пег издает высокий восторженный звук.

– Мама!..

Вера наконец выходит из оцепенения. Уголок ее рта дергается.

– Поздравляю. Я буду слать вам письма.

Лицо у Пег испуганное, черты лица прыгают, двигаются невольно, но скрыть неуверенную, смущенную улыбку у нее не хватает сил.

Мать улыбается уголком рта и тушит бычок в раковине.

– Нужно купить тебе большой чемодан, – говорит она, выходя.

Вера медлит целую секунду, прежде чем пропустить ее в дверном проеме.

* * *

Входя в подъезд, Пег останавливается, откидывает назад голову и шумно дышит. Волосы около

лба и висков насквозь мокрые от пота, веснушчатое лицо лоснится. Тяжелая металлическая дверь медленно закрывается за спиной. Сумрачно, только сквозь заляпанное пыльное окно с давно мертвым цветком на подоконнике льется жидкий свет. Пег прижимает к груди книги, закрывает глаза и немножко стоит. Столичное метро в жару – наказание. Потом она вытирает лицо тыльной стороной ладони, раздраженно откидывает тяжелые жаркие волосы назад, пока роется в карманах и сумке в поисках ключей. Уже шагая в открытые двери лифта, Пег кривит губы и возвращается к почтовым ящикам. Маленький ключик делает в замочной скважине один поворот. Пег вытаскивает ворох рекламы, конверт с платежкой за июнь; платежку она вытягивает зубами – руки заняты книгами – и уже почти выбрасывает рекламу в стоящую рядом картонную коробку, как чувствует пальцами в ворохе что-то плотное. Книги приходится положить на ящики сверху, Пег перебирает рекламу, пока не наткнется на письмо.

Простой белый конверт. Ровным, круглым почерком написаны ее имя и адрес. Незнакомая иностранная марка. В левом верхнем углу, вместо имени отправителя, синей ручкой нарисована маленькая мышка.

Снаружи, за дверью подъезда, июньское солнце садится за столичные многоэтажки.



Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

ЗОИЛ

МАНИФЕСТ СЕВЕРА

ПОМОРСКИЕ СТРАСТИ ДМИТРИЯ НОВИКОВА



АНДРЕЙ РУДАЛЕВ
Литературный критик, публицист. Родился в 1975 году в г. Северодвинске Архангельской области. Регулярно печатается в различных изданиях с литературно-критическими материалами. Автор книги «4 выстрела. Писатели нового тысячелетия». Лауреат премии

«Чистая книга» в номинации «Литературная критика» (2020).

Русская литература невозможна без чуда. Это путь осмысления и постижения чудесного. Иначе и не бывает: у ее истоков богатейшая традиция древнерусской книжности.

Нвинтэссенция отечественного чуда — все то же пушкинское стихотворение «Зимнее утро», где оно светом разливается в пространстве. Откровение, схожее с рублевской «Троицей». Явление света.

География и пространство здесь традиционно занимают важное место. Они — путь постижения того самого чуда с главным вектором на Север, где, казалось бы, небо ближе всего и с землей почти что сходится.

Россия — северная, а значит, зимняя страна. Танова реальность. Это не бремя и не проклятие, а, наоборот, система метаморфоз — особое пограничье, как раз и дарующее возможность чуда.

Вспоминается «Ястреб» — альбом Александра Ф. Сняря.

«Ястреб» — световой столп, исходящий с неба на землю, и наоборот. В альбоме тоже о Севере. Сняря призывает «на Анзер». Идти и не сдаваться! Идти!

Анзер — один из Соловецких островов, самое высокое место его названо Голгофой. Место гибели и место подвига. Остров с давних времен притягивал к себе молитвенников и подвижников, которые основали здесь скит и монастырь.

Сняря обозначает путь вперед и вверх на Голгофу, где земля соединяется с небом, где «ангелы сеют небесные зерна». Носмологическая вертикаль проходит через сердце, через душу: «в сердце огонь, в душе моей ветер». Человек устремляется вверх, ведет брань в первую очередь с самим собой, «чтобы жить».

На Север! Север — это тоже верх, ближе к ангелам место. Посмотрите на карту.

Это место, где всегда ветер и солнце. Даже когда его нет на небе — солнце в сердцах. «Солнце с нами, солнце в нас», — поет Скляр в заглавной песне «Анзер». Недаром еще Федор Абрамов говорил, что на Севере люди — солнца.

«Мороз и солнце; день чудесный!» «Они сошлись... лед и пламень». «Рай и ад сошлись...»

Проза петрозаводского прозаика Дмитрия Новинова как раз и есть свод явлений чудесного, в центре которого — житие Варлаама Черетского с падением, долгим скитанием по пограничью жизни-смерти и преображением.

Расхристаный герой романа «Голомяное пламя», ежедневно изнуряющий себя чуть ли не до смерти, чтобы проснуться зимним утром — и вновь по кругу «нестерпимой и обидной» боли, все потому, как «доверился, раскрылся полностью, подставил мягкое брюхо». Вот и бьется до последних сил, растрчивая веру или, наоборот, рыбой жадно ртом ее ловя.

Он «не засыпал, нет, умирал на время, до утра», будто находясь на крючке. Так пока сам не попал на острое жало тройника, пытаюсь вытащить из лунки огромного налима. Пока не оказался в ледяном капкане. И последнее «Помоги!», как рыбий вздох перед вечным покоем, обернулось чудом спасения.

Таковы его «хроники пограничных состояний». Там «на мутном небе мгла носилась...» Такова битва пограничья Севера до того, как он явится семьей или «голомяным пламенем». Чудом, преодолевшим ту самую мглу.

Назалось бы, полная безнадега, нет выхода и спасения: «Дальше было совсем сине, мрачно, беспросветно...» И вдруг наступает преобразование всего беспросветного: «Что-то чудесное грянуло, произошло! Невероятный, безумный, отчаянно-веселый солнечный луч вырвался из узкой щели между низкими тучами и горизонтом. Он вырвался, и ворвался, и вдруг окрасил все золотом, неприкрытым, непродуманным золотом счастья». Человек в ладье, сети, а в них «светлым золотом билась сиятельная рыба». Так завершается рассказ «В сетях Твоих». Так Север становится «ловцом человеков», своеобразной сетью Господа. Так низ и верх сходятся, образуя свое светопредставление чуда — то самое «голомяное пламя».

Новиков постигает это пограничье грудью нараспашку. Постигнув, обретая мудрость и знание, провозглашает: «Строить!» Это тоже присвоение пространства, что и у прозаика Ильи Ночергина. Через битву и многие страсти, которые умирятся чудом, обретением прощения, берега, реки. Как у святого Варлаама Черетского, который своим житием соприсутствует и в современности. Чтобы увидеть эти пересечения, необходима особая тонкая настройка, умное зрение.

Святого павшего, но восстановившегося, спасшегося, после трех лет странствия по Белому морю в поисках смерти с телом убитой им супруги. Практически тот же крючок тройника поймал его в капкан... В XX веке чуть ли не вся страна по пути святого пошла. Может, и до сих пор ходит. Прибьет ли к берегу или лодку источат морские черви — кто знает...

Проза Новинова — истории страстей, которые необходимо преодолеть, перебороть, как это произошло и у святого с «бесовской мезтью». Натиск этих страстей сдерживается до поры позицией «себе-на-уме» и лукавым прищуром «хитрого карела», но выход все равно находят.

«И характер говнистый. И сам прижимистый», — так охарактеризовал его Ноля из рассказа «Змей».

Дмитрию Новинову, как герою рассказа «На Суме-рене», «целый мир был мал, мил, недостаточен». Он — что Жолобнов из «Жаб мести и совести», чрезвычайно чувствителен «но многим проявлениям жизни и смерти», которые выстраиваются в хронологию «пограничных состояний». Чувствителен порой до мнительности.

И проза у него пишется сложно, через надрыв и страдания, через многочисленные потери и движение по тонкой грани. Оттого и набело, потому как проживается страстно. В этом деле не может быть дублей, черновинов.

Боль — одна из четырех главных качеств прозы, которые сам писатель формулирует. С ней рядом идет радость, жизнь и правда. Отсюда и частые «хроники пограничных состояний».

В своем «Манифесте новой северной прозы» Новинов сравнивает ее с карельской березой: «Медленно, мучительно прирастает она новыми словами, еще труднее — законченными произведениями. Мороз и снег, нехватка солнца, тяжелый авитаминоз — где брать ей силы, как не в упорстве и труде. В терпении». И при этом в ней «сочится свет», который становится категорией поэтики текста и критерием его качества: «Свет этот есть художественная правда».

Так сложилось, что первая ассоциация при упоминании его имени — финал рассказа «На Суме-рене», где изрядно во хмелю герой — «душа на разрыв, грудь нараспашку» пошел к своей возлюбленной. Руки чесались, по дороге зацепился с компанией, получил настетом по голове. Очнулся и двинулся дальше. После уже у квартиры «диспут» с порванной рубахой, с милицейскими дубинками и прочими буйными страстями. Под самый финал: «Пустите его. Он мой! Мой! — слышите». Кричала та, к которой шел. Та, из-за которой «раскрылся полностью, подставил мягкое брюхо» и был подсечен острым крючком и надежной леской. Что остается? Биться из последних сил, пока тебя уверенно вываживают...

Рыба, ее ловля — это и описание любви, когда тонкая леска натягивается до своего предела («На Суме-рене»). Любовь и смерть — рядом стоят, это тоже из разряда «хроник пограничных состояний».

Примерно так и пишется рассказ. Бурлящими страстями, кровью, которая «реченькой» пошла, что в весеннее половодье. Так и проявляются «кровоточивые движения» души. Впрочем, он может и анекдотом развернуться, веселой историей, которых много у автора.

Если у Михаила Тарновского звучит музыка гармонии, порядка и чуда — так и хочется ухватить ее кадр, оставить спасительной зарубной на душе и хранить, что ладанку, — то у Дмитрия Новинова то и дело врывается стихия разлада, надрыва. Та самая мгла, которая у Пушкина носилась на мутном небе. Или бес, отомстивший Варлааму Черетскому, рожу свою норовит высунуть.

«Жабы мести и совести» делают свое дело и гложут душу. На участке, который приобрел и на котором построился, — змей в избытке. Будто притянуло к змеиной горке. В таком соседстве и научился жить, правда, часто приходится лопатой показывать, кто тут хозяин. Если у героя рассказа «Стройна бани» Михаила Тарновского струйкой в землю ушли все обиды и раздражения, что телесный пот в бане, а душа чистая и светлая вверх подалась, то у Новинова ползают змеями. Ужалят, если наступишь. Потому что-то рубящее необходимо под рукой иметь.

Он также пытается прочувствовать строй жизни, но всякий раз подозревает о ее неустроенности. Не верь, не надейся, не проси. Преда-

В своем «Манифесте новой северной прозы» Новиков сравнивает ее с карельской березой: «Медленно, мучительно прирастает она новыми словами, еще труднее – законченными произведениями. Мороз и снег, нехватка солнца, тяжелый авитаминоз – где брать ей силы, как не в упорстве и труде. В терпении». И при этом в ней «сочится свет», который становится категорией поэтики текста и критерием его качества: «Свет этот есть художественная правда».

тельство ползет по пятам, силится ужалить. Поэтому всегда сам по себе. Знание о возможности предательства омрачает все. Отсюда и счастье провоцирует не восторг, а подозрение: где-то притихли и спрятались те самые жабы. И гады, в избытке ползающие по участку. И морские черви, которые могут в труху источить днище ветхого суденышка.

Сам — распахнутый, но в то же время змей во внутренней норе притаился. Да и что его скрывать? Кто без змея? Тем более на Севере — месте пограничья. Где, с одной стороны, эти самые гады, жабы и налим-трупоед, а с другой — семга...

Север притягивает, но и бежать хочется. Да и «красота такая, что страшно», со «страшной страстью» она, похожей на «изменчивый женский нор», о котором многое знает святой Варлаам. Здесь по лезвию идешь, вычерчивая «географию души человеческой».

Здесь море — что белые ночи. Оно тоже белое и тоже «граница, грань между жизнью и смертью, добром и злом». И вода в нем — что соленая кровь. Тут начинается «потусторонняя жизнь» рек, которые растворяются в нем. В этой белизне отлично различаются все оттенки. Ничего не скроешь. Да и как можно что-то утаить и спрятать в краю «между светом и тьмой»? В нем «ты прозрачен, и прозрачны другие перед тобой».

Все это притягивает совершить обряд человеческой инициации. По Новикову, Белое море раскидывает «свои ласковые сети, в которых запутываешься навсегда, потому что зависимость от этих мест делает тебя сильным и свободным».

Белые ночи — Белое море: «Нет ничего в мире красивее, чем берег Белого моря», а с другой стороны, «нет в мире ничего страшнее, чем берег Белого моря». Все потому, что «нет в мире ничего пограничнее, чем берег Белого моря. Здесь все рядом, близко, сцеплено неразрывно друг

с другом — белое и черное, пьянство и честность, неистовость и поной. Здесь главная русская свобода, обещанием свободы поправная. Здесь смертельная красота. Здесь радость отчаяния. Здесь надежда. Здесь вера. Здесь любовь».

У Новинова «Север правдив и жесток», становится своеобразным индикатором внутреннего состояния человека: если «вдруг ты болеешь душой — любая скрюченная сосна на скале перед тобой изогнется петлей и напугает древним проклятием».

Тут и белые ночи — что «ночи белых ножей» с таящейся «жестокой силой». Будто на разделочную доску попадаешь, находясь «наедине с огромным правдивым зерном белесого неба». Затем ощущаешь, что как с рыбы чешую соскребают, а это «чешуя накопившейся за долгие годы грязи». Так чистым становишься и ясным. Пусть не навсегда, а на какое-то время, ведь чешуя после снова будет нарастать.

Эта чешуя — что жабы из рассказа «Жабы мести и совести»: противные, пупырчатые, похожие на «номья неясной морской грязи» и неведомо откуда произошедшие. Может, на самом деле — метаморфоза той самой отпавшей чешуи, которая разбухает в морской воде, начинает шевелиться, а после и к тебе подползет, чтобы вновь вернуться и чешуей обернуться. Что тот самый бес, отомстивший Варлааму Черетскому.

В рассказе «Змей (Голос внутренних озер)» раскрывается тайна происхождения этих «жаб» или «гибных гадов». Они — производное городской жизни, там обитают повсеместно и вольготно.

Подползают и пытаются залезть в душу постепенно, чтобы устроить хаос, подтолкнуть к трагедии. И вот когда уже кажется, что плохое неминуемо из воды, является «семга именем Его», изгоняющая жаб. Эта рыба предстает в луче света посреди повсеместной пасмурности, она — проявление чудесного и высший дар Севера.

«Для меня счастьем навсегда стала первая семга увиденная, когда она в луч солнечный из темных вод прыгнула и застыла на мгновение в радуге от мелких брызг, вместе с нею в небо взлетевших», — пишет Новинов в своем романе. Для него это явление — своеобразная эманация божественного: «Мне с тех пор как говорил кто, что Бога нет, спорить незачем было. Я видел. Я знал». Север щедр на подобные откровения. Но опять же все зависит от внутреннего человеческого состояния. Здесь оно любовное.

Это история любви к рыбе с первого взгляда — к «высшему духу красоты». Любовь в своем высшем значении, когда «я» становится «ты», а «ты» — «я»: «Иногда мне даже казалось, что я — это она. Мне мечталось стать ею».

Именно семга научила любви: «Любить почти до смерти — другой не бывает любви. <...> Любить до изнеможения, до судорог, до отчаяния. Устать. Разочароваться. Почти умереть. Сменить красный цвет на темно-серый. Бессильным вальчаком скатиться в море. Бессильным, еле живым. Еле живым надеждой, что, возможно, все опять когда-нибудь повторится. Выжить этим. И жить».

Любопытно, что в новиновском романе эпитеты «городское» и «южное» соседствуют в одном синонимическом ряду: «...в прошлом, городском, южном, похотливом и плясательном своем существовании ты был куриное яйцо — гладкое, самоуверенное, незамысловатое». На Севере «твоя скорлупа начинает покрываться легкой сеточной трещин, которые с небольшого отдаления можно принять за морщины, — ты мудреешь на глазах, на ногах, на ноздрах — целиком».

Прошлое — до приобщения к Северу, до прохождения обряда инициации. Своеобразная изоляция, в которой мельчаешь. На Севере же становишься больше себя прежнего, избавляешься от терзавших тебя страстей южного городского темперамента и обретаешь особую мудрость, степенность, рассудительность, которой наполняешься, будто соленым ветром.

На Севере начинается трескаться та самая внешняя скорлупа, которой человек огражден от настоящего видения мира. Здесь все органы чувств воспринимают окружающее совсем иначе, чем раньше. Теперь они — освобожденные от той самой скорлупы, благодаря чему «ты вдруг поймешь всю цену слов, и запахов, и звуков». Так являет себя умное зрение. Тот самый прищур, образующийся в полоске между небом и землей.

«Ты поскобли себя изнутри тертухой, не жалея, чтобы до крови, дырни-то отвори да хорошенько проветри» — а это уже в романе Владимира Личутина «В ожидании Бога» художник Рахманин другу-литератору Янину советует.

Личутин тоже северный писатель, из Архангельской области. У него самого будто подобная терна в руках, которой он оттирает своих персонажей. Очищает там, где «заросло, все покрылось мхом, пронисло, застоялось», чтобы могли проделать ту самую траекторию восстановления, что и игрушечный ванька-встанька. Северный разговор, северные темы — они такие... не о легких предметах, а о пограничье, которое с человека всю лишнюю чешую счищает, что ветхие ризы.

По тому же Личутину, дьявол «всегда в душе». Человек пытается изгнать его, «сражаясь на стороне Бога». В этой битве и заключается ожидание Бога. Оно — как и война, которая «забирает человека всего, вытряхивает из груди ветхого, самовлюбленного и выстраивает совершенно нового, способного гореть и сгорать за идеалы, которые здесь, в миру, кажутся нам смешными».

Так же и у Новикова: «...бесы все — внутри. Нет ничего снаружи, все — внутри». Или вот в «Голомяном пламени»: «...все черное, страшное и гадное — в тебе самом». На Севере внутреннее выворачивается наружу — танов эффект внешней чистоты белых ночей, Белого моря. Все это производит та самая «жесточая сила», похожая на «украшенное рыбьей кровью лезвие».

Поэтому и «сказки Белого моря начинаются страшно». Будто так вовне исходит внутренняя человеческая чернота. Банным потом. Север — что баня, очищающая, преображающая, испытывающая на крепость. Почему бы и нет... Это именно та чистота, которую почувствовал Гриша в «Голомяном пламени». Его «Белое море за одну ночь вылечило, вымучило, очередной раз спасло».

Еще одна важная переключка с Владимиром Личутиным, а также с Федором Абрамовым — тема раскола. На Севере она остро чувствуется. Потому как Божий промысел, а с другой стороны — бесовские ухищрения, между ними все превращается в очень тонкую полоску, что лезвие ножа, по которому идет человек. Раскол разрушает весь строй этого пограничья.

Тема раскола общая для Русского Севера — отражение фундаментальных основ отечественной цивилизации, которые и сконцентрировались здесь. Раскол, усобица, вражда всегда воспринимались в русской традиции за безусловное зло. Этому отечественная культура всегда противопоставляла дух общности, единения. На Севере это принципиально важные категории, здесь без этой общности попросту не выжить.

Новиков чувствует дыхание «холодом древнего раскола». Так «непримиримая память честной веры не простила дочери своей принятия искусства». Эта память для него важна. Он пишет об «обмане революции», которая, по его мнению, и произвела раскол.

Новиков чувствует дыхание «холодом древнего раскола». Так «непримиримая память честной веры не простила дочери своей принятия искусства». Эта память для него важна. Он пишет об «обмане революции», которая, по его мнению, и произвела раскол.

Надо ли спорить и рассуждать по этой теме? Конечно. Генеалогию русского раскола необходимо осмыслять. На Севере это всегда воспринимается как что-то пришлое, чужое. Север — дух свободы и живет во многом наособицу. Все «дурное» приходит сюда извне. Все местное, коренное — практически райское состояние. Здесь строится «дом», в котором все устроено разумно и по уму. Построение дома — традиция, знания, умения и опыт, передающиеся из поколения в поколение. Все внешнее, пришлое, устраивает хаос, смятение в этом доме, стремится к его разрушению.

Есть и другой пример столкновения своего и чужого. Вот, к примеру, прибрежные жители в свое время крайне негативно восприняли приезд на Соловки Савватия и Германа. Местные считали себя владельцами побережья и островов, поэтому воспротивились появлению там чужанов. В Житиях святых есть эпизод, когда женщину, которая вместе с мужем поселилась рядом с инонами, стали бить прутьями двое «светлых юношей», говоря им, что это место предназначено для жизни преподобных. Негативную реакцию людей позже испытал и Зосима Соловецкий. Местные привыкли ловить на островах рыбу, полагали здесь все за свое, поэтому и строили монахам всяческие козни, грозились разорить обитель.

Это ведь тоже столкновение коренного, привычного и чужого, пришлого. И расценивать все это можно по-разному. Так ведь и сама обитель была не только местом святости и молитв, но и заточения. Все та же узкая грань пограничья: жизни и смерти, света и тьмы...

Особые претензии у Дмитрия Новинова к XX веку, к русской революции и последовавшему после нее разрушению уклада, истреблению человеческой породы, как и семужьего стада, когда «самых крепких извели под корень».

Впрочем, и по поводу извода есть разные версии. Вот, к примеру, автор-рассказчик в рассказе Василия Шуншина «Как мужик переплавлял через рену волка, козу и напусту» любит Лобастым и рассуждает: «...я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед...

Это — венное». Тут речь о единой породе, исполинском древе, уходящем в глубь веков, а вовсе не об убывании генетического кода, о зачистке от лучших, на место которых пришел «красный человек»...

Вот и Новинов, хоть и пишет об истреблении, но пытается найти отсветы, отражения в современности той самой ушедшей породы — «поморской стали» и соли земли. Будто пробуя на вкус. Не обессолилась ли она вконец, ведь совершенно особая человеческая порода на Севере, потому и спрос особый: «Мы, поморы, не рабы. Мы — рыбы. Шевельнул хвостом да в море ушел».

Через эти поиски уже манифест не северной прозы, а северного человека пишется: «Сильно давит когда судьба народ русский, он и гнется порой, что твоя сосна под ветром северным. Да не ломается. Крепна поморская сталь. Настали плохие времена, одна тогда задача — стоять да терпеть. Гнутья, да не ломаться. Все равно пройдет морок и солнце выглянет. Все равно утро будет».

Морок и солнце. Утро. Опять все то же — пушкинская квинтэссенция отечественного чуда. Иначе и невозможно, «утро будет» и дарование чуда. Пока бы с мороком этим разобраться, затянулся уж он очень. До такой степени, что тот же раскол практически стал уже частью отечественной физиологии: «У нас Гражданская война до сих пор не кончилась. У нас раскол в крови!» При этом писатель отмечает, что отличие поморов состоит в том, что у них «вся злая энергия и воля уходили не на борьбу с себе подобными, а на борьбу с морем, с севером неуютным». Туда, в море, и уходила энергия розни.

При разговоре о трагедии расколов XX века вспоминается стихотворение Павла Васильева, написанное им после поездки на Беломорканал, «Песня о том, что случилось с тремя сыновьями Евстигнея Ильича на Беломорстрое». В финале есть такие строки:

*Весть услышав о новом пути,
Хлещет повистом Белое море
И не хочет сквозь шлюзы идти.*

Своенравны здесь люди, рыбы, море, они сами путь прокладывают. Не только свой, но и отечественной цивилизации. Шлюзы не для них, своим умом живут, своим пониманием пути. Но загнать хотят, как и рыбье стадо в сети, поэтому и избивают как семужье стадо, так и «поморскую сталь», мечтающую о мужицком рае. Наверное, так проще с расчетом на быстрый, но короткий результат. Север так не укротить. Только вот после того, как это короткое проходит, разворачивается рубец раскола глубокий и длинный.

Противостояние раскольничьей тенденции — строительство. Как тут не вспомнить философию домостроительства, которая была развернута в произведениях Федора Абрамова. Дом Новинова — то, что сшивает поколения, обустроивает мир и устраивает в нем лад. Не случайно он пишет, что с постройкой дома «начинал понимать, что затеял одно из самых важных дел моей жизни, что я построю хороший крепкий дом, который переживет меня и достанется детям, а потом внукам». («Строить!») И что особенно важно: «...прерву этим традицию жизни в общем государстве, когда каждый должен был начинать с нуля и ничего не добиваться в итоге».

Главное в доме — дух, который нинуда не девается. Это знание и понимание человека, которое он накапливает, а оставленный пребывает в его ожидании. Без этого ожидания, без этой надежды становится стылым, уходящим трухой в землю.

Через строительство сама земля начинает входить в круг родства, и «я начинал любить свою землю». Об этой любви Дмитрий Новинов пишет как о старом, забытом чувстве, причем всей страной. Так через воспоминание восстанавливался род, символом которого стала «моя земля. Маленький кусок, посреди мудрого древнего, оголтелого прошлого, шаткого настоящего и непонятного будущего». Через это и произошел переход у автора от страсти, которой пульсировали ранние рассказы, к постижению настоящего «Я люблю...». Так в свое время Варлаам Черетский обрел свой берег и спасение.

Отсюда и главная идея отечественной современности — императив, вынесенный в заглавие рассказа: «Строить!» Расчистить площадку, изгнать гадов, преодолеть морок и строить. Восстанавливать генетическую память и чувство сопричастности. Осваивать пространство, делать его своим, своим домом, противостоять запустению и заброшенности: «Мне почему-то кажется, что сейчас очень важно — строить. Строить дома. Для себя». Так будет выстраиваться линия противостояния череде разрух. Поэтому и важен такой тип людей, как «делатели»: «Они работают, думают, ищут, и все в каком-то странном направлении. В хорошем». «Делателю» и весь мир открывается, и раскрывает свои тайны. Именно таковым и является северный человек.

Дом — это еще и особая музыка, через него мир человеческого обжитого пространства перестает быть немым. Построенный дом встраивается в единый музыкальный ряд голосов, ведь «голосами деревянных домов говорят внутренние озера. Голосами построенных на их берегах церквей. Голосами смеявшихся на их берегах детей...» Где-то тут и возникает шуншинская ремарка «не им одним нажито» с живой линией рода, соединяющей время и отражающей в настоящем.

Во время посещения Архангельска Дмитрия Новинова зацепило стихотворение отличного и глубокого поэта из Наргополя Александра Логанова «Экспансия Белого моря» — тот самый вектор, который манифестирует и сам писатель.

Экспансия — притяжение. Возможность видения того самого «голомяного пламени» — светового свечения моря. Не случайно этим путем на Север шла отечественная святость, выстраивая луч «Северной Фиваиды». Не случайно через Север страна обретала себя и становилась больше, масштабнее. Север — субстанциональный проект ее будущего.

В «Экспансии» Логинова — о «светлой силе», которая по «лучу золотому» грядет «рассветной песней». Всматривайтесь лучше в Белое море. Где-то там может семга в луче света явиться. Преображающая сила там. Рассвет русской цивилизации:

*Уже по дорогам и весям
Двигется, гулу небесному вторя,
Вольноголоса рассветная песня —
Это экспансия Белого моря!*

*Вот и дождались вы светлую силу.
Лик свой просуньте в окно зоревое:
Дышит, гуляет, качает Россию
Белое-
белое
Белое море...*

Экспансия чуда у Новикова состоит в том числе и в том явлении чудесного, когда прошлое начнет в полной мере отражаться в настоящем, когда время через систему отражений соберется в точку и трансформируется в луч света, преобразующий одномерную реальность. Когда возникнет непрерывная коммуникация времен и поколений, когда возникнут не тени прошлого, а лица, не расколы, а непрерывные судьбы — род.

Все это связано с особым видением и просветлением, когда был сам прозрачен и весь мир вокруг тебя становился прозрачным. Причем не картинной стоп-кадра, а во всем своем развитии и истории.

«И помутневшим, увлажнившимся глазом вдруг словно увидел — от развалин домов пошли к морю солнечными блинами, травяными тенями — матерые мужики в онладистых бородах, молодки в расшитых жемчугом сарафанах и повойниках, старухи в черных платках, подростки в перепляс. Они скользили к берегу и уходили в морскую воду. Веселыми понатниками плескались дети. Быстрой тиндой ныряли подростки. Серебрянками, залёдками и закройками вились молодые поморки. Листопадками степенно уходили в глубь старухи. Огромными рыбинами, заломом, рассенали волну северные мужики...» — так завершается у Новикова роман. За этим видением — «золотая тучка», «светлый дождь», «ярная радуга». Пир света — «голомяное пламя». Ее явление во всей полноте.

Дмитрия Новикова все время силятся спихнуть на региональную обочину. Не заговор, конечно, нет. Скорее, инерция стереотипов, которая разворачивается прямо как в реплике Конева из рассказа «В сетях Твоих»: «Знаешь, поморы твои никому не интересны. Никому на фиг не нужны. Ну были, жили, плавали, и что?» Такovy же стереотипы и по отношению к Северу, который представляется территорией неустроя в противоположность южному комфорту.

Но это именно общероссийский разговор. Общий для всех регионов большой северной страны. Разговор о том, что Север — ее преимущество, та самая кладовая солнца, своеобразный реактор отечественной цивилизации, вырабатывающий неугасимую энергию нации.

У писателя из Владивостока Василия Авченко в его книге «Кристалл в прозрачной оправе» есть рассуждения о рыбе, мудрость которой состоит в том, что она тянется к Северу, поэтому «ногда люди станут умнее, они потянутся на север». Здесь — северная страна, где «холоднее всех», а морозы «часть нас самих». Конечно, не только морозы, но и свет. Чудо соединения несоединимого, которое притягивает и цепляет человека своим пламенем.





ЕГОР АППОЛОНОВ

Двадцать два года назад, когда я пришел в свою первую газету, я ничего не умел. Мои менторы и учителя того времени заложили прочный фундамент моих журналистских умений и достижений. Никто не обязан был меня учить, брать на работу с нулевым опытом и без диплома (работать в газету я попросился на первом курсе университета). Однако меня взяли и всему научили. Я очень благодарен своим учителям: без них я бы не стал тем, кем стал. В какой-то момент я сказал себе: я тоже буду передавать свои знания молодым, точно так же, как в свое время передали знания мне. Я езжу на «Тавриду» с удовольствием: мне нравится преподавать, а кроме того, я вижу замотивированных «студентов» с горящими глазами. А ведь для преподавателя нет лучшей мотивации. Каждая «Таврида» (в этом году я побывал там в статусе «эксперта» в третий раз) — это новые знакомства, новые знания, новые откровения. «Таврида» — арт-кластер расширения горизонтов. Офлайновая социализация — важнейший аспект жизни, а ведь в современном мире мы утрачиваем это живое общение все стремительнее и стремительнее. Вот почему я каждый год с таким удовольствием приезжаю сюда: за живым общением, за дискуссиями, за обсуждениями, за эмоциями, которых нет в онлайн. Каждый студент — личность, уверен, каждый достигнет ярких результатов. У многих я учусь сам. Вот, например, Маша Лебедева, выдающийся литературный критик, стала лауреатом премии «Большая книга» в номинации «Блог-пост». Нет, это, конечно же, не мое достижение: Маша и до «Тавриды» писала блестяще. Скорее, я учился у Маши, а не Маша у меня. «Таврида» — это арт-кластер, где все учатся друг у друга. А ведь в этом и есть суть жизни — встречаться с новыми людьми и учиться чему-то каждый новый день. Еще раз повторюсь: все студенты, прошедшие через мои мастерские, — выдающиеся личности. Здорово, что «Таврида» объединяет так много ярких людей.

«УЖАС — СНАРУЖИ, СПАСЕНИЕ — ВНУТРИ»

РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН АННЫ КОЗЛОВОЙ «РЮРИК» (2019 Г.)



ПОЛИНА НАРПОВИЧ
Журналист из Архангельска, пишет в том числе на темы культуры. Постоянный автор журнала о театральной жизни Архангельской области «Бенефис», где ведет рубрику о нижних новинках «Литчасть». В октябре 2019 года была участницей школы

литературных критиков творческой резиденции «Таврида-лит».

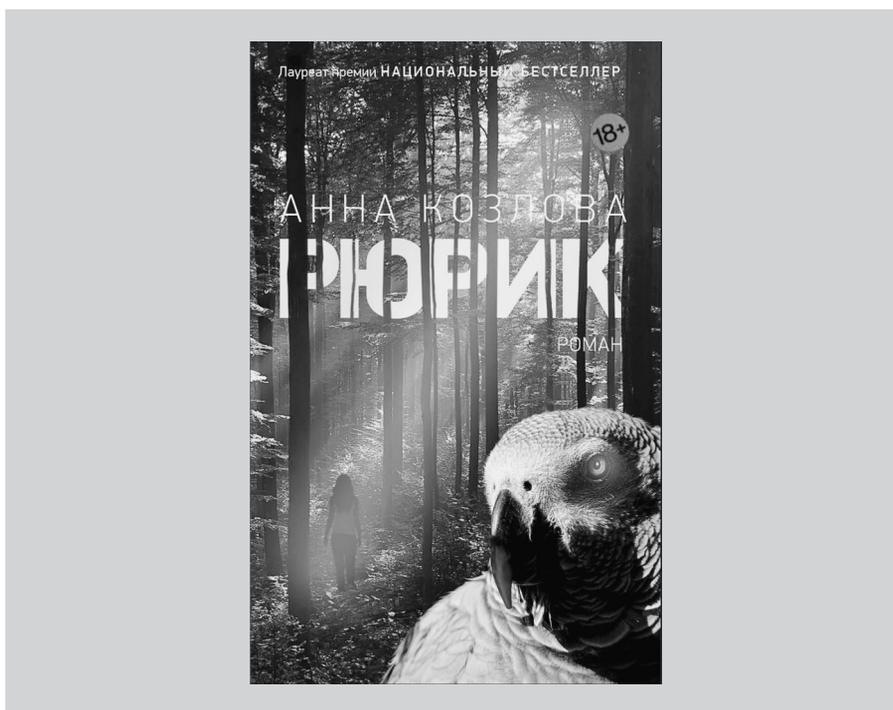
Практически каждый из нас был неказистым, в той или иной степени проблемным подростком, во многих этот подросток так и остается жить как непознанное существо. Историю о вечном взрослении и поиске себя настоящего предлагает в своем новом романе «Рюрик» писатель и, что здесь важно, сценарист Анна Козлова.

«Рюрик» — история 17-летней Марты, которая убегает из элитного интерната и в поисках своей матери отправляется автостопом в Архангельск. В дороге она встречается с Михаилом. Ему за 30, он путешествует на мотоцикле — ему все равно, куда лететь по трассе. Короткие отношения заканчиваются ссорой. После нее Марта угоняет мотоцикл нового знакомого и теряется в лесу, полном мистики, где проходит курс по выживанию, одобренный галлюцинациями и флешбэками в прошлое ее семьи, в которой жил попугай по кличке Рюрик. О нем позже.

Поиски девушки вплетают в роман еще две сюжетные линии: Нати Беляевой, которую деструктивные любовные отношения привели в сетевую журналистику, и Николая Бурцева — деревенского жителя со сломанной судьбой после гибели дочери в тех же лесах, где оназалась и Марта.

В романное пространство Козлова втягивает с ходу, грамотно расставляя сюжетные крючки. В проводники автор берет саму книгу как некий любопытный предмет. Она — как та самая сумка, оставленная в вагоне метро или в автобусе. Вас же предупреждали, что о подозрительных предметах нужно сообщать службе безопасности, а не хвататься за них? А вот Анна Козлова хочет, чтобы вы ослушались рекомендаций, — тогда начнется самое интересное.

«Рюрик» — именно роман, с его каноничными параллельными сюжетными линиями для нескольких героев. Другое дело — как сюжет и герои прописаны автором. Сценарный подход к тексту делает роман очень простым для восприятия — его проглатываешь. Он настолько обыденный,



наполненный бытовыми деталями, что моментами начинаешь стыдиться даже: уж очень отдаёт Устиновой или Поляковой. А потом обнаруживаешь там и вовсе целый минс: и мистический триллер, и философское высказывание, и социальную драму. Все, конечно, в легкой и даже слегка пародийной форме, но имеет место.

Эта пограничная между жанрами позиция возмущает, но вызывать такие чувства текстом — для Анны Козловой привычное состояние. Для ее стиля характерны прямолинейность, некий вызов и игра с читателем, чему она не изменяет и в «Юрике». С поправкой на то, что свой циничный подход к жизни, к отношениям на этот раз она готова обсудить и даже устроить настоящий интерактив с читателем: то живо поинтересоваться его мнением об отношениях юной девы и взрослого мужчины, а то и навязать быть свидетелем всего происходящего.

«Юрик», несмотря на простоту фабулы, — это большое исследование, и в первую очередь исследование тайны женской жизни. По Козловой, женщина вообще обладательница особой энергии: она может вносить полный хаос (как в истории Марты), а может упорядочить мир (как делает это подключившаяся к поискам девочки Нятя), может приспособиться к обстоятельствам (как женщины отца Марты — Светка и Ира). Но она никогда не апатична — даже случайная свидетельница ссоры Марты с Михаилом готова кинуться их разнимать. Зато мужчины (Михаил, отец Марты) бездейтельны за двоих, их функция — породить ситуацию, из которой выпутываться будет женщина. Выбивается из общего ряда только Николай Бурцев: он и за дочь отомстил, и в лес вмешался ради Марты. За свою активность и наказан.

«Ужас — снаружи, спасение — внутри», — так Анна Козлова формулирует еще одну важную тему книги, для которой в нее добавляется мистический сюжет. История Марты — своеобразный ответ на вопросы «Ад — это другие?» или «Ад — это мы сами?». Будучи подростком, Марта переживает

социальный ад: она никогда не знала свою мать, ее насильовал отец (так девочка говорит, по крайней мере), он же часто менял женщин, то и дело заставляя дочь приспосабливаться к новым людям в своей жизни.

Единственным близким ей существом становится Рюрик, попугай породы краснохвостый жако. Его она встречает в квартире новой женщины отца. Марта — единственная, кто смог приручить эту неистовую птицу. И дальше он как бы становится зеркалом девочки: остервенело выдергивает из себя перья, как она сама глушит в себе право на эмоции. Своего пика это отзеркаливание достигает, конечно, когда Рюрик нападает на новорожденную сестру Марты и убивает ее. В глазах подростка новый ребенок — нечто, отнявшее остатки внимания к ней. Она и сама убила бы, если бы могла. А Рюрик, как зеркало, как концентрат энергии Марты, совершает это за нее.

Лесной заказник на краю Архангельской области — это место перерождения Марты. Он будто вовсе оторван от остального мира, первобытен, что дает читателю погрузиться в воспоминания девушки и в то же время отследить каждый ее эмоциональный отклик на прошлое — в чистом виде. Память заставляет ее буквально выворачиваться наизнанку: ее постоянно рвет, начинается, прямо говоря, понос. Танов ее путь к очищению, к осознанию и прощению себя. И она выигрывает схватку — все как полагается деятельному женскому образу романа.

Кстати, «Рюрик» — это вообще первый роман нашего времени, в котором Архангельская область становится местом действия, а скорее даже, полноценным персонажем. Чего не скажешь о новостной повестке, в которой регион мелькает из-за мусорных протестов, взрывов. Тот еще дремучий лес — на серию романов хватит.

В своих интервью Анна Нозлова говорит о том, что для нее важна в «Рюрине» и тема трансформации события в социальных медиа: там обсуждения покруче, чем у бабушек на дворовых скамейках. Пока Марта борется только с собой, Ната Беляева разбирается с серой массой из интернета, где один готов невинно покриковать, а другой легко выдаст тайны друга. Если Марта — во власти личных воспоминаний, то остальной мир в романе, следующий за ней онлайн, — под колпаном из чужих мнений, жизней, взглядов. Среда для обсуждений, конечно, питательная, но развития это не дает — продолжаться будет только флуд.



ТАКИЕ, КАК ВСЕ

ЗАЧЕМ НАМ СКУЧНЫЕ НЕПРИЯТНЫЕ ГЕРОИ



МАРИЯ ЛЕБЕДЕВА

Нандидат филологических наук, магистр культурологии. Национальная премия «Русские рифмы. Русское слово» (2018) в номинации «Лучшая критическая публикация, премия «Литблог» (2019). Участница форума «Таврида» (2018–2020).

Руни С. Нормальные люди: пер. Александры Глебовской. М.: Синдбад, 2020. 288 с.

«Нормальные люди» Салли Руни взбесили всех, кого не обрадовали.

Репутация автора, которым «заставили восхищаться» из-за громких титулов вроде «первого великого романиста тысячелетия», переметнулась и на негероических героев, которых не за что обожать и не за что ненавидеть — одно бесконечное раздражение.

А главное — эти герои скучные.

Тренд на скучных героев вполне логично следует за трендом на органично «не таких как все», запоминающихся фриков вроде Шелдона Купера из «Теории большого взрыва», под эгидой которых прошло последнее десятилетие. В случае с Шелдоном или Шерлоком нового извода крайугольным камнем инаковости становились ментальные особенности, отголоски которых фанаты то и дело обнаруживали у себя.

Социопатия и невероятные аналитические способности, высокий интеллект и принадлежность аутистическому спектру — эти понятия не обязательно идут теперь парами*. Персонажи Салли Руни — тоже с особенностями, но без сверхспособностей, и это делает тренд на скучных героев важным для закрепления идеи о том, что наличие травмы, психического расстройства или недостаточной социализации не делает никого исключительным, только более уязвимым.

При желании с персонажами очень легко себя идентифицировать, они — конструктор триггеров миллениала, и как что угодно усредненное будут такими, какими захочешь их видеть. Герои Руни и Данэм — не пример для подражания. Читатель / зритель сам себе

* Вспомним «Перед восходом солнца» Зошенко и постигшее его разочарование в том, что встретившийся тупой, пресный, ничем не примечательный человек имел диагноз «депрессия».



ролевая модель: книга / сериал становится в первую очередь путеводителем, набором ситуаций и возможных путей их развития. Переживая за скучных героев, мы проявляем сочувствие к человеку в целом, а не к конкретно взятому харизматичному персонажу, под очарование которого так легко попасть, и не к пресловутому «маленькому человеку», где к переживанию примешивается снисходительность, — иди пожалю, убогий.

Текст выходит за пределы экрана и книжной обложки — важным становится неразрывность публичной фигуры скриптора и произведения. Ты — это то, что ты пишешь, и нет противоречия между личностью и высказыванием (недавний скандал вокруг премии Успенского показал, что к этому вопросу мы вернемся еще не раз). Салли Руни создала первый роман, чтобы добраться до тех, кто разделял бы ее идеологию. Лина Данэм не только исполнила главную роль в собственном сериале, но и вместе с другими актрисами «Девочен» активно транслирует свое мнение о мире, совершенно не противоречащее заявленному на экране.

Реальность «Нормальных людей», реальность вообще такова, что персонажи — плоть от плоти ее. Исключительный герой в историях о повседневности кажется органичным для драмы или для комедии положений. Скучные герои легитимируют обычность, неприятные — позволяют принять себя-неидеального. Разрешение быть скучным, проговаривание очевидных истин, демонстрация уязвимости — и есть следствие искренности во всем, от эмоций до слов. Потому-то в произведениях Руни и Данэм так много и телесного, и эмоционального эксгибиционизма. Честность становится важнее искусственной усложненности, что проявляется в сюжете, характерах персонажей и отсутствии рефлексии, которая неизбежно приведет к приращению смыслов.

Человек звучит громче художника.

«ТАЙНЫЕ ВИДЫ НА ГОРУ ФУДЗИ»

КАК САМАЯ ГРОТЕСКНАЯ И БЕЗЖАЛОСТНАЯ САТИРА
НА МИР ЭПОХИ ПОКОЛЕНИЯ Z



МАРИЯ РЫЛЕЕВА
В 2017 году окончила
Алтайский государственный
университет по направ-
лению «Теория и практика
журналистского творче-
ства». Спектр исследований
и интересов — современный
российский медиаантивизм.

Свежие прозаические изыскания Виктора Пелевина сродни презента-
циям Apple — ежегодны, едни, псевдоинновационны и насмешливо дороги.

«Тайные виды на гору Фудзи» затесался где-то между свежей
редакцией «Искусства легких насаний» и ставшим уже почти культовым
«IPhuck 10». Если последний успел обзавестись собственной сценой
в пентхаусе Москва-Сити и главной героиней в лице актрисы Даши Мороз
под острым соусом визуальной словесности Нонстантина Богомолова, то
наш объект для изучения пока занимает позицию знановую с невозможно
пошлой приставной «современная». Это почти грустная, почти грубая,
почти безжалостная история о свободах, либеральном кризисе и фемини-
низме.

Весь роман — беспрецедентный самоповтор в лучшей манере пост-
модернизма и самого Пелевина. Неважно, кто он — твой главный герой.
Злободневный русский олигарх в засаленном пиджачке и с увесистой
золотой цепью на шее или жиголо с многозначной суммой на счету
в бороздящей океаны яхте. Непремено в жизни этого героя, неприлично
богатого, с таинственными связями и туманным прошлым, должна появиться
та самая, и имя ей — Татьяна. Не знаю, связано ли это с известной
Татианой Римской, возлюбившей духовный образ жизни, но Татьяна Пеле-
винская в части духовных практик и самопознания преуспела не меньше.
Яркая феминистка, приверженка западного движения #MeToo. Она проде-
лала неблизкий путь из каноничной содержанки в защитницу женских
прав от мужского абьюза. Он же — почти эталон настанедовских притч
о просветлении. Словно борец с биполярным расстройством собственной
личности, во мгле разрывающийся между тягой к беззаботной жизни
и истинным просветлением. Они оба, как обезглавленные улитки, ползут
по инерции к собственной менке просветления — вершине горы Фудзи.
Они оба — воплощение лучших трендов инстаграма, за которыми наблю-



дает автор — нарочитый пользователь фейсбука, подуставший от незатейливых идей самопознания, коучей духовного роста, да и, кажется, от самого себя.

Из приметных героев нашего времени в романе упоминаются разве что актрисы: Портман, Нидман и Турман, злонесчастный Харви Вайнштейн и стартапер из подмосковной Силиконовой долины.

Последний, как юный Будда, ведет олигарха Федора и двух его друзей к вершине просветления. Помните, как в последнем фильме Балабанова «Я тоже хочу», где главные герои, так преданно идущие к Богу, участвуют в перестрелках и хоронят своих же в этом пути? Так и здесь, духовный путь не очищает главных героев от праздного трепя и внутренней пустоты. Им все так же интересны светские сплетни, разговоры о собственных незатейливых интересах, и даже ничего плотское им не чуждо.

Но вся суть романа кроется в другом: герои Пелевина — это архаика, покрытая заплесневелыми трендами вчерашней новостной ленты вашего инстаграма. И если Минаев в «Селфи» нам, нынешним, дает четкую установку: «Если ты есть в социальных сетях, значит, ты существуешь», то Пелевин такой установкой брезгает, объективно высмеивая собственных персонажей. Автор подсказывает читателю, что нет никакого пути их просветления. Есть погоня за лайками, молодостью, желанием быть в тренде. Нет высокого. Есть только низменное. Нет жажды. Есть только зависть. Есть наскучившие деньги и власть. Есть новые игры, в которые играют люди. И Пелевину новая реальность омерзительна.

Каждый новый роман Пелевина — абсолютный бестселлер, абсолютный тренд, если хотите. И среди зевая в книжном тоже найдется немало Федоров и Татьян, ищущих просветление на прилавках букинистической лавки.

КАЖДЫЙ СОЗДАЕТ СВОИ МИР САМ



ДАРЬЯ СВИТАЙЛО
Выпускница программы
«Литературное творче-
ство» Образовательного
центра «Сириус». Побе-
дила во Всероссийском
конкурсе сочинений «Россия,
устремленная в будущее».
Обучается в Институте
филологии Московского
педагогического государ-

ственного университета.
Дипломант международного
конкурса художественно-
документальных работ
«Ранние журавли».

Александр Снегирёв. Призрачная дорога. М.: Эксмо, 2019. 352 с.

Мы постоянно пытаемся понять, что хотел сказать автор, но ответ всегда остается неизменным — автор не собирался ничего говорить. Он описывал объекты своего интереса, любопытства, волнения. Да, довольно эгоистично, но это факт. Так и Александр Снегирёв делает «Призрачную дорогу» собственным эгоцентричным переживанием. Спасибо, что подготавливает почву — создает метароман. Получается, Александр Снегирёв — модернизированный герой-резонер? Да и роман в целом можно сравнить с пьесой. Практически единство места, обилие диалогов и монологов, так похожие на ремарки авторские (и не только) замечания, разобщенные, будто поделенные на акты действия, к тому же довольно зрелищные.

Читателям бы точно «захотелось» понаблюдать за жарящимся на сновороде сердцем или воскресшим печником. Но отойдя от ассоциаций с трагикомедией, стоит сказать, что это тот случай, когда частное становится общим. Инстабогини, гастарбайтеры, опекуны, беженцы, бабушки-паломницы «с пригласительными от администрации района».

Все насущное, обо всем — с юмором. Однако автор не похож на самовлюбленного циника — себя тоже не пожалел: выдал немало правды и саркастических шуточек про писательский талант, отношения с женой, семейные драмы.

Сейчас в тренде многозадачность. «Призрачная дорога» не отстает! Это роман о проблеме усыновления. Это роман о борьбе с самим собой. Это роман об ужасающей окружающей действительности. Это роман об «отцах и детях». Это обо всем и ни о чем.

Бросающий вызов Снегирёв убежден: для писателя хорошо в некоторой степени страдать раздвоением личности. Однако если сам автор



подобным образом расширяет творческие границы, то читателю достается очередная горка «Намикадзе» в сюжетной линии (что довольно захватывающе). Александр Снегирёв играет с композицией — получаем раздвоение личности читателя в квадрате. Он жонглирует словами, на что имеет право, однако забывает, что ограничение по возрасту обусловлено присутствием обсценной лексики. Как «мам, ну пятнадцать минуточек» превращается в несколько часов, так и нецензурная брань перерастает в тотальную пошлость, вульгарность. Однако ироничность автора, в том числе над самим собой, затмевает многое, как и яркие художественные образы, метафоричность, звукопись.

Эта книга обо всем и ни о чем. Но что есть какое-либо мнение, если «каждый создает свой мир сам»? Это — мир Александра Снегирёва. Мир, в котором правят юмор и смелость.



Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

НАША ПОБЕДА

КОШКИН



ГЕРМАН САДУЛАЕВ
Родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. Учился в Грозном, затем на юридическом факультете в Ленинграде. Автор книг «Одна ласточка еще не делает весны», «Таблетка», «Я — чеченец!», «Шалинский рейд» и многих других. Финалист премии «Русский Бунер».

Начальник политотдела 70-го укрепрайона Ростовского оборонительного рубежа старший батальонный комиссар Николай Васильевич Кошкин лежал на пригорке, широко раскинув руки, и смотрел в ночное звездное небо. Ночь была теплой и ласковой, июльские звезды, как котятка, клубочками медленно катились по войлоку близких небес, иногда звездочка срывалась и, беззвучно мякнув, падала за горизонт. Мягкие звуки наполняли воздух: текла река Тузлов, храпели кони, урчали вдалеке моторы, иногда принимался вышивать пулемет: та-та-та-та-та, потом взмывала в небо осветительная ракета, и стрельба затихала. Можно было представить себе, что это не пулемет, а молотилка, рычаг моторы не танков, а тракторов и комбайнов. Вокруг были колхозы, совхозы, элеваторы, конюшни, села, хутора, пахота и кочковатые пастбища для скота. Но Кошкин знал, что война.

Воевать Кошкину было легко. Смерти он не боялся. А семьи у него не было. Ни жены, ни детей. Была сестра, но у той свой муж, есть о ком печалиться. Родители оба умерли. Николай Васильевич думал о смерти, что она просто перенесет его в какое-то другое место. Каждую ночь он видел во сне покойных отца и мать. И всякий раз за то дневное время, когда Кошкин занимался дневными делами, в мире отца и матери что-то менялось, что-то происходило. Даже и без него. Поэтому Кошкин думал, что

у родителей за смертью есть своя отдельная жизнь и что, может быть, и он туда попадет.

Старший батальонный комиссар отчего-то знал, что назавтра его ждет самый страшный бой его жизни, но знал и то, что сам он опять уцелеет. Многие рядом умрут, а он нет. Не пришло время. Кошкин верил, что перед смертью он получит знамение. Он не знал, что это будет. Но понимал, что распознает, когда увидит. Может, это будет сон. Может, во сне он увидит свою комнату в большом родительском доме, комната будет прибрана, кровать застелена свежим бельем, а на столике у кровати большая эмалированная кружка с водой: значит, ждут. Недавно он видел во сне свою комнату, в ней были свалены старые игрушки, поломанная мебель и прочий хлам. Он тогда поругался на батю: чего вы в моей комнате помойку-то развели? Отец махнул рукой и говорит: ты еще не скоро вернешься.

Кошкин подумал, что надо бы уснуть и посмотреть новый сон, вдруг в нем будут знаки о судьбе? Но сон не шел. Думалось о работе.

Николай Васильевич не был тем карикатурным политруком, которого изображает беллетристика. Он не мешал командиру командовать, а бойцам воевать, не докучал проповедями и читкой вслух газеты «Красная Звезда», если только его не просили. Кошкин понимал, что боевой дух солдата зависит не от пустопорожней болтовни агитатора,

а от того, дыряв ли сапог, горяч ли обед, есть ли патроны к винтовке, не заели ли вши и растоплена ли баня. Не потому, что солдат животное и скот, а потому, что к самой высокой душе придано в усиление мясное тело, как тягло для зенитной пушки, нацеленной в небо, и без тягла не выйдет душа на позицию для стрельбы, а ускользнет звездочкой, падающей наоборот, только ее и видели.

Поэтому Кошкин занимался хозяйством, хитро-жопых тыловикив гонял, страшал особым отделом, сам считал, проверял, доставал, а завхозы у него по струнке ходили. Даже финчасть трепетала. Ведь шпалы комиссара давали Кошкину пропуск и туда, куда военный командир вроде бы и не должен соваться. Потому что идейное руководство партии – не хухры-мухры. И еще помогал командиру в составлении бумаг и закрывал отчетность своим политдонесением. Командир за Кошкиным был как мужняя жена со всех сторон защищенный.

Командиром у Кошкина, комендантом УР-70 был подполковник Николай Осипович Павловский. Большой стратег. Командовал 55-м УР в тылу, в Ленинкане, до того преподавал строевую часть в военном училище, а воевал с 16 лет в Гражданской. Но в этой войне порошу еще не понюхал. А Кошкин на фронте с зимы 1941-го.

Так вот, зима. Ставят батальон на позицию. Позиция в голой степи. Батальон весь день окапывается. Приходит ночь. А где спать? Как спать? Южная зима не морозная, но снег-то лежит, и когда согреться негде, то дрожь пробирает до самой кости. А после земляных работ белье мокрое, оно на теле застывает. Сходи поночуй зимой в степи! Костер зажигать, согреться-обсушиться нельзя, маскировку нарушает, ночной самолет-разведчик координаты занесет, жди поутру «юнkersы» с подарками. Нужен блиндаж. В блиндаже теплее и можно даже чутка подтопить невидимо. Но для блиндажа не только яма в земле нужна, а и накат из бревен на крышу, а где бревна взять, когда кругом степь? За одну ночь получаем в батальоне сто заболевших. У кого простуда, а у кого и воспаление легких.

Немцы в той же степи стоят и так же мерзнут. У них, правда, есть какие-то палатки, пиломатериал они с собой подвезли, да и костры жгут – не боятся. Небо под ними. Но все равно комфорт недостаточный. Значит, нужен хоть какой-то хутор, чтобы зацепиться и отдохнуть. Говорят, всякое бывало. Говорят, вечером сражались за хутор остервенело наши с немцами, потому что вопрос стоял: кому ночевать в хибарах, а кому на голой земле? Тут главное было сами хибары минометами в труху

не снести. А еще брешут, что договаривались. День мы, день вы, одна ночь наша, другая ваша. Подразделение, стреляя мимо из всех видов вооружений, с громким криком «ура!» занимает хутор, немцы бегут. Спим, в баньке моемся. На следующий день немцы идут в контратаку, аккуратно долбят по воздуху рядом с домами и сарайками, мы в тяжелом бою отступаем. Но назавтра, собравшись с силами, отбиваем населенный пункт.

Потом краеведы памятник поставят и напишут, что хутор Заречный восемнадцать раз переходил из рук в руки, такие тяжелые были бои. Но банька дяди Афанасия, однако, чудом уцелела.

Всякие анекдоты рассказывают. Кошкин в историях не участвовал, а если участвовал, то молчал, потому что по закону и уставу войны это братание с неприятелем, за что полагается расстрел.

Летом хорошо. В УР-70 3274 человека, из них состав 379, младших командиров и рядовых 2895, а спать всех устроили. Человек 300 бодрствуют в дозорах и на дежурстве, а остальные кто где спят. Есть блиндажи, есть доты и дзоты, есть хутора, есть целый город Новочеркасск, есть помещения совхозов и колхозов, но многие, как и сам Кошкин, выползли на лунные пляжи позагорать. В тесном душном блиндаже еще насидимся. Главное ведь тут что? Комары. А комаров не было. Непонятно. То ли все комариное войско обрушилось на переправы через Дон, где невероятное количество коров и прочей животины толкалось на берегах или уплывало, сносимое по течению вниз, то ли еще какой-то произошел парадокс, но тонкий звон кровососущих насекомых не стоял над ночными батальонами, и люди спали в садах, положив под головы вещмешки. Ночь была такая счастливая. Последняя ночь.

Громко стрекотали кузнечики. Ухала ночная птица. Послышался мягкий шаг. Кто-то спросил негромко:

- Товарищ старший батальонный комиссар? Кошкин узнал: коновод Грушевицкий. Любимчик.
- Чего тебе? Почему не спишь?
- Так ведь вы тоже не спите.
- Кошкин заворчал:
- Я начальник. Мне положено. Я за вас всех думаю, за идиотов. Чего хотел?
- Ваше поручение выполнено. Доложить только не успел.
- Добро. Иди спать.
- Можно я тут рядом с вами прилягу?
- Ну, приляг. Земля не моя, колхозная.
- Коновод завозился, устраиваясь на почтительном расстоянии от начальника политотдела укрепрайона.

Кроме людей, у Кошкина были лошади: 518 в пяти батальонах. Потому что 39 пушек калибра 76 миллиметров и 41 пушку калибра 45 миллиметров на руках не утащишь. А еще минометы, мины, снаряды, гранаты, патроны, кухни, медчасть. Ездовые штабных и связных. Большое конское хозяйство. А Грушевицкий был лучший коновод, Кошкин его к себе приблизил и через него управлял гужевым транспортом. Автомобилей же было всего семь. Это для штаба игрушки. Кошкин особого внимания на автомобили не обращал.

Николай Васильевич любил лошадей. Хотя верхом ездить не умел толком. Отец сокрушался: какой же ты казак? Одно недоразумение. Кошкин предпочитал на бричке. Но с лошадьми разговаривал, гладил, кормил кусочками сахара. Имел в кармане всегда специально для лошадей и не смешивал с табаком, который держал строго в другом кармане. Комиссар заботился о лошадях не менее чем о людях. Некормленный солдат как-то подсуетится, а если лошадь привязать, то как она сама найдет себе корм и воду? Особенно же при бомбардировках. Человек прячется в окоп или щель, а куда лошадь спрячется?

В последние два дня были налеты, и лошади пострадали. Кошкин пытался вывести лошадей в тыл, но где тот тыл? Прятал в лощинах, у поселков, в кущих низкорослых садах, а бомбы достали, посекали многих лошадей осколками. Николай Васильевич призвал к себе Грушевицкого и наказал разобраться с потерями в конском составе. Убитых прикопать, чтобы не разлагались на страшной июльской жаре, а на мясо не разбирать, не кормить красноармейцев мертвечиной. Тяжелораненых доставить на кухню, чтобы забить по санитарному правилу и обеспечить батальонам приварок из конины. Пусть верные лошади послужат Красной армии своей плотью в последний раз. А легкораненых лошадей развести по частным хозяйствам в армянские села, стоявшие между рубежами укрепрайона, тем, кто остался дома, не эвакуировался. Но поставить условие: лошади казенные, забивать нельзя, вылечить и по требованию сдать опять в армию. Записать хозяев в книжечку.

Грушевицкий спать не хотел и завел разговор, кажется, сам с собой.

– Что же делать, если лошадь может попасть к неприятелю? С одной стороны, живая душа, и как ее не жалеть? Как можно пристрелить лошадь живую, здоровую, только за то, что ты сам не сумел обеспечить ей отступление? С другой стороны, немец возьмет лошадь, прицепит к ней пушку, вытащит на позицию, начнет стрелять и убьет

советского человека. Выходит, лошадь ты сберег, а человека убил. Но опять, если с третьей стороны, то лошадь, она как человек – пленная. Пленных нельзя использовать в войне. Если немец использует, то его совесть. А нельзя же солдата убить за то, что он может попасть в плен? Солдат живой человек. Война такая штука, сегодня ваш день, завтра наш. Сегодня солдат попал в плен, а завтра сбежал. Или мы отбили. Мы ведь всех пленных отобьем. И лошадей. Ведь было, что мы отбили у немца лошадей, а что за лошади? Наши лошади, прежде захваченные в мирной жизни или от армейских обозов. И снова становятся в наш строй. Лошадям проще, им особый отдел не положен. Правильно, товарищ старший батальонный комиссар?

– Что, Грушевицкий? Хочешь с особым отделом познакомиться?

Комиссар знал, что Грушевицкий пересказывает его собственные мысли, так сказать, систематизирует из обрывков, да еще и пытается подражать речи самого комиссара. Но не как пересмешник, а от почтения и любви. Грушевицкий очень любил Кошкина за понимание важности лошадей и за хозяйственное ко всему отношение.

– Да не. Они подумают, что я собираюсь отступить, а не стоять насмерть.

– Если лошадей нельзя взять с собой в отступление, то следует по возможности раздать остающемуся на временно оккупированных территориях населению.

– Ага, а немец один хер придет и реквизирует.

– Может, да. А может, и нет. Раздачу казенного имущества надо сопровождать агитацией жителей вступать в партизанские отряды или поддерживать партизан. Тогда им и пригодятся лошади. Для организации партизанского движения на временно оставляемых территориях укывается часть партийного и комсомольского актива.

– Верно, верно. А уж казак или армянин придумают, как спрятать кобылу. Когда она практически своя.

– Не волнуйся. Не пропадут наши кони.

– Эх, главное, чтобы не поубивало. Ведь каждого, каждого жеребенка в колхозах, совхозах, племенных хозяйствах растили как дитя, кого и из бутылочки молоком прикармливали, любили, звали по именам, всех, даже колхозных, что говорить о частных лошадях, которые как брат или сестра в доме, а пришла война – и туда сотню, сюда тысячу, здесь утопили, там прикопали, а ведь конь не курица, он за неделю из яйца не вылупится, лошади

Идущий зигзагом противотанковый ров, основное укрепление, после таяния снегов осыпался, скруглился, обвалился, порос лопухами, репейником, сурепкой. А ров работает, только когда он острый, прямоугольный. Он так рассчитан, что танк должен упереться в дно и не мочь выкарабкаться ни туда, ни обратно.

нужно сколько лет, чтобы родиться и вырасти? Почти что как человеку! Да что как человеку, когда и больше! Вот сколько баба ходит человеком беременная? Девять месяцев! А кобыла жеребая сколько?

- Год, если по первой.
- Год! Да. Вы-то знаете, товарищ старший батальонный комиссар. Вы понимаете.
- Все понимают. Потому и раздают. Лошадей, коров, зерно. Давай уже, спи.

При отступлении из области Дона не успевали эвакуировать на восток гурты скота и большие запасы зерна. Было принято решение частично раздать имущество гражданам, которые либо эвакуировались частным порядком, либо оставались жить на временно оккупированной территории.

Думы о лошадях странным образом успокоили и Кошкина, и коновода, оба уснули, каждый лежал на спине и легонько похрапывал.

В Ростовском оборонительном рубеже было два укрепрайона, 158-й и 70-й, каждый со своим командантом. А главным над ними был генерал-майор Платон Васильевич Черняев, заместитель командующего Южным фронтом по укрепрайонам РОР. И еще укрепрайоны подчинялись в оперативном отноше-

нии командованию и штабу 56-й армии. Части армии должны были насытить районы красноармейцами и огневыми средствами, дополнительно к отдельным пулеметно-артиллерийским батальонам УРов. В позиции 158-го УРа залита была 30-я стрелковая дивизия, командование которой приняло оперативное руководство укрепрайоном. А с 70-м получилась какая-то неразбериха. То 339-я стрелковая назначалась на смену морским стрелковым бригадам, а потом была отправлена в резерв, то 31-я стрелковая шла сквозь позиции, да не закрепилась, в общем, к решающей схватке батальоны 70-го УРа остались считай что одни.

Что касается самих укреплений. Их строили полгода назад, осенью 1941-го. Немцы тогда Ростов взяли, но ненадолго, через десять дней немцев выбили и отогнали. Думалось, что укрепления больше не пригодятся. И только в июне 1942-го вспомнили о рубеже. Начали понимать, что придется отступить к Дону, а может, и дальше. Кошкин был с инспекцией укреплений в июле. Работы по восстановлению рубежа велись вяло. Осенью 1941-го была энергия, мобилизовали всех гражданских на рытье противотанковых рвов и эскарпов. Сейчас обтрепались. Многие жители города ушли в армию и в ополчение, органы власти были заняты эвакуацией, редкие трудовые команды помогали саперам оживлять противотанковую оборону. Идущий зигзагом противотанковый ров, основное укрепление, после таяния снегов осыпался, скруглился, обвалился, порос лопухами, репейником, сурепкой. А ров работает, только когда он острый, прямоугольный. Он так рассчитан, что танк должен упереться в дно и не мочь выкарабкаться ни туда, ни обратно. А если подвалить стенку, то танк легко переползет. В блиндажах жили лягушки. Щели, окопы, ходы сообщения, позиции артиллерии – все осыпалось.

Генерал-майор Черняев ходил вдоль окопов и бормотал: траншеи. Траншеи полного профиля, соединенные ходами сообщения для скрытной переброски подразделений к огневым позициям, запасные огневые позиции, три эшелона, без траншей крышка. А Кошкин думал, что траншеи, конечно, хорошо, но еще лучше было бы иметь в оперативном резерве подвижную артиллерию, САУ в количестве десяти, а лучше тридцати стволов. Однако ни траншеи не выкопали, ни самоходки оборонительному рубежу не придали.

А еще не придали ПВО. Только с 30-й СД пришло четыре зенитных пулемета на ЗИСах, да и те ведь в 158-й УР. Все зенитки были у переправ, защищали отходящие войска от ударов с неба. Четвертая

воздушная армия должна была прикрывать и мосты, и укрепрайоны, но, имея к началу операции 130 исправных самолетов, она за июль потеряла 168. В небе над Ростовом красные самолеты терпели поражение за поражением. Если наши истребители и пытались воспрепятствовать штурмовкам «юнкеров», то «мессеры» отгоняли наших высоко и далеко, а штурмовки шли своим чередом.

И вот пришел день.

Солнце встало на востоке за Доном, быстро рассеивая трассерами летних лучей предрассветный туман. На западе из тумана выползла колонна танков 14-й дивизии вермахта. Они шли, сминая проводочные заграждения, на позиции 372-го батальона, прямо по полю, которое значилось в наших картах как заминированное противотанковыми минами. Кошкин стоял на батарее 2-й роты и смотрел в бинокль.

– Чего же они не рвутся? – закричал комиссар.

Стоявший рядом комбат-372 сказал:

– Ночью немецкие саперы сделали проход. Наверное.

– Да какой там к чертям собачьим проход? Они же прут по полю не глядя! Кто ставил мины?

– Саперы ставили. Осенью. Полгода назад.

Комиссар опустил бинокль и сказал безучастно:

– А. Понятно. Идиоты. Мы все. Идиоты.

Советские противотанковые мины 1941–1942 годов ТМБ-2, установленные на Ростовском оборонительном рубеже осенью 1941-го года, имели бумажный корпус. После таяния снегов и нескольких дождей они раскисли, взрывчатое вещество размокло, минами это месиво мокрого картона с аммиачно-селитренной смесью быть перестало. А на наших картах местность продолжала быть «заминированной». Новых мин почти нигде не установили. Немецкие саперы, вероятно, с удивлением узнали ночью, что положенного минного поля перед танковым рвом нет.

Кошкин винил себя. Он всегда винил себя. Почему не разобрался, почему на веру принял карту саперов, почему не проверил минирование? Надо было этим ленивым саперам руки и ноги поотрывать, и картографам чертовым, но прежде всего ему самому надо оторвать яйца за глупость и недогляд. Есть, конечно, комендант, он по картам воюет, штабной стратег, есть комбаты, но у них свои заботы, Кошкин, Кошкин во всем виноват.

Между тем артиллеристы наводили 76-миллиметровые орудия на край противотанкового рва. Ров был яркий, глубокий, отчасти восстановленный, к тому же пристрелянный. Ведь в чем еще прелесть рва?

Говорил Кошкину командир батареи:

– В чем, товарищ старший батальонный комиссар, прелесть противотанкового рва? Сам по себе он, конечно, танки не остановит. Можно взрывом стенку завалить, можно послать инженерный танк, делов на полчаса – и тьфу на тебя, ров. Но пока обрыв не засыпан, танк должен перед рвом остановиться, не может он с ходу хороший ров перепрыгнуть. А если у тебя это место пристреляно, то ты аккуратнo изo всех стволов бьешь – и танкам капут.

Так и случилось. Передние танки встали задумчиво перед краем обрыва. И тут все батареи батальона сделали залп. Еще залп. Еще. Танки попытались. Пехота соскочила с брони. Пошли в дело осколочно-фугасные. Три подбитых танка не оставили полуживыми. Добивали так, что с одного следа башня, а два запылали, как факелы, в нечетком еще утреннем свете. Пехота, рассыпанная по полю, оставила здесь и там мертвых своих кузнечиков в серо-зеленых мундирах. Выстрелы огрызающихся танков никуда не попали. Атака была отбита, а потеря в батальоне совсем не было.

«Начало дня куда как хорошее», – подумал Кошкин. Но подумал горько. Потому что понимал все.

70-й УР стоял фронтом на север и на северо-восток в районе Новочеркасска. Слева стоял 158-й УР фронтом строго на запад и на северо-запад в месте стыка позиций. С раннего утра левый фланг РОР пылал огнем, шла артиллерийская перестрелка и штурмовка позиций «юнкерами». Потерпев неудачу на северном рубеже, немцы ударили в стык и прорвали оборону у хутора Несветай. Через прорыв танки стали заходить в тылы 372-му батальону.

1-я рота развернула свои батареи направлением Несветай, 4-я рота прикрыла тыл, а 2-я и 3-я роты продолжали обороняться по фронту и правому флангу. По фронту на танковый ров шли три колонны танков и не меньше двух батальонов пехоты. Но это все ничего. Огневая мощь батальона, стоявшего в укрепленных позициях, могла и не такое перемотать. Восемь орудий 45 мм и восемь орудий 76 мм, особенно последние, способные выбивать танки, 16 минометов, 28 противотанковых ружей, 59 пулеметов. Танков, конечно, было невероятно много. Кошкин насчитал по фронту около 60, еще 20 ползали в тылу и на флангах. Но развернуться в полную силу они не могли, какие-никакие противотанковые укрепления мешали танкам. Мешал противотанковый ров, замедлял атаку, хотя постепенно немцы и обваливали стенки рва, в тылу мешали участки надолбов и сваренных шпал, приходилось обходить,

После штурмовки души убиты, опозорены, а тела не имеют силы стрелять, складывают оружие и уходят в плен с пустыми глазами. Можно ли их судить? Сердце в таком теле мертвое, мозг застыл в параличе, как студень, нет жизни, нет желания, только детство и страх.

маневрировать, останавливаться, подставляя борта под огонь. Батальон долго бы еще продержался. Убивать начали самолеты.

«Юнкерсы» летали 4-самолетными звеньями, три звена составляли эскадрилью, две эскадрильи зависли над позициями 372-го батальона. Двадцать четыре «юнкерса-87». Пикирующий бомбардировщик, «штука», «певун», «лаптежник». Обрушились бомбы. Бомбой трудно попасть в маленькую точку огневой позиции, и «юнкерсы» стали прицельно обстреливать из пулеметов, снижаясь до высоты 100–150 метров. Кошкин, петляя, как заяц, между пулеметными очередями и падающими бомбами, бежал сначала к ПТР, потом к взводу ручных пулеметов и кричал:

– Стреляйте, братушки! Стреляйте вверх! По самолетам стреляйте, не прячьтесь!

Не так-то легко убить с воздуха мясное тело человека. Тело спрятано в землю, тело маленькое. Возьми автомат и постарайся убивать ползающих по земле муравьев. Они же врассыпную, кто куда. Больше патронов изведешь, чем насекомых поляжет. С неба человек такое же насекомое. Но тонкая душа бывает убита раньше. Налет убивает душу, Кошкин знал. Летит с неба бомба, стреляет пулемет, накрывает тень крыльев, валится хищная птица. Николай Васильевич думал, что, может быть, это древний страх. В древнее время хищная птица охотилась на людских детей. Бывает порой и сейчас горный хищник уносит младенца, хотя, наученный мстостью, скорее, возьмет ягненка, чем человека. Так

же, как человек боится змею, как боится паука, так боится он хищной птицы и пикирующего бомбардировщика. А «певун» еще и включает свою гуделку, страшную, кровь стынет в жилах. Любой человек, даже очень взрослый матерый солдат, чувствует себя ребенком, хочет спрятаться под одеяло земли, теряет волю к жизни и всякую способность к сопротивлению.

После штурмовки души убиты, опозорены, а тела не имеют силы стрелять, складывают оружие и уходят в плен с пустыми глазами. Можно ли их судить? Сердце в таком теле мертвое, мозг застыл в параличе, как студень, нет жизни, нет желания, только детство и страх. Не виноват никто. Такая физиология.

Но есть один способ. Николай Васильевич знал.

Надо стрелять. Человек должен всегда стрелять. Так он сохраняет волю. Если идут мертвецы-вурдалаки, которых и серебряная пуля не берет, а у тебя только свинцовая, ты стреляй. Едет танк с броней, от которой отскакивает снаряд, а у тебя в руках пистолет, стреляй. Летит бомбардировщик, ты с автоматом, очередь в зенит теряет убойную силу, чуть поднявшись над землей, мягким горошком стучит по кабине пилота, а ты стреляй, стреляй. Стреляй в свою слабость, стреляй в страх.

На занятиях комиссар говорил, что надо вести заградительный огонь по самолетам даже из стрелкового оружия, потому что такой огонь мешает низкой пикировке и прицельной штурмовке, принуждает сбросить бомбы абы как и уйти, говорил, что немало случаев, когда самолет сбивают стрелковым огнем, читал вслух об этом заметки из «Красной Звезды». На занятиях комиссар говорил, что по танкам надо вести ружейно-пулеметный огонь, чтобы отсесть пехотный десант, а также чтобы не возникло у командира вражеского танка светлой идеи поднять люк и осмотреть поле боя, а в танке у врага видимость почти нулевая, смотрит через узкую щелку. Но сам Кошкин не очень верил в результативность такого огня. По самолетам должна стрелять зенитная пушка, по танкам – 76-миллиметровая как минимум. Но стрелять надо. Главное, для того, чтобы сохранить в себе волю.

Тот, кто стреляет, тот сражается, тот не сдается. Воля к жизни. Воля к победе. Стрелять.

По пятам за Кошкиным петлял от взвода к взводу помощник начальника политотдела Коршак. Кошкин остался у пулеметчиков, а Коршака послал на КП батальона: ты давай там, крепи оборону. И держи связь. Через пару часов боя Коршак вернулся, доложил: два орудия 76 мм разбиты бомбами. В 4-й роте

один орудийный расчет раздавлен прорвавшимися на батарею танками. Но батальон стоит. Подбивает танки, сжигает машины пехоты, расстреливает десант. Позиции соседей слева прорваны, бои идут в тылу рубежа «Г», перед рубежом «А», связи с комендантом УР нет, связи с соседями нет, связи с штармом-56 нет. В общем, связи на КП батальона нет. Кошкин сказал:

- Давай на КП вернемся оба. Наладим связь со штабами. Нам нужна огневая поддержка армии. И коменданта надо найти.
- Комендант наверняка на тет-де-пон в Новочеркасске.
- Тет-де-пон, ишь ты, – усмехнулся Кошкин.
- Предместное укрепление, – смутившись, перевел Коршак.
- Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, – сказал Кошкин.

Оба политработника засмеялись, обнажая белые крупные зубы, сверкающие за почерневшими от пыли и копоти губами.

- Воды бы.

С водой все было плохо.

Когда Кошкин осматривал будущие позиции, он шел по садам в лощинах. Там уже рассредотачивали лошадей, пускали на длинной привязи. Лошади заинтересованно срывали толстыми губами с нижних веток зеленые яблоки и груши, фыркали довольно, показывая свои лошадиные зубы. Кошкин видел сады. Яблони, груши, мелкий абрикос, слива, всего много, богато, донская земля же, да и тепло. Но все какое-то низкорослое, чахловатое. «Почему?» – думал Николай Васильевич. И вдруг понял, и холодом внутри обожгло. Спросил у Грушевицкого:

- А как тут вода?
- С водой плохо, товарищ старший батальонный комиссар.
- Насколько плохо?
- Мало воды. Тузлов далеко и грязный. Ручьев мало, и грязные опять же. Источников почти нет. Колодцы полусухие.
- Понятно. Потому тут сады низкие, а колхозы бедные. Сухая степь. Только скот пасти, да и то немного, чтобы воду не выпил. И живут одни армяне.
- А что армяне?
- Армяне привычные к сухоте.
- Вы, товарищ старший батальонный комиссар, об армянском народе в дружной семье советских народов говорите так, будто это порода сусликов.
- Отставить!

Кошкин и сам почувствовал, что сказал что-то неправильное, лишнее. Искал возможности что-то хорошее сказать про армян, загладить вину. Но не видел повода. Вместо этого, испытывая еще большее раздражение, стал приказывать коноводу:

- Надо запастись водой. Посылай бочки к Дону. К Аксаю. Сколько найдешь. Нужно много воды. Чистой, хорошей воды.

Вода была нужна лошадям, пулеметам, кухням, да и просто солдатам и командирам, в июльской жаре не особенно хотелось даже и есть, а вот пить очень хотелось и днем, и ночью.

22 июля 1942 года уже к полудню целостность оборонительного района была нарушена. Кошкин внутри себя огорчился, что продержался район до обидного мало. Но сопротивление продолжалось в разделенных очагах батарей, батальонов, опорных пунктов противотанковой обороны. Бои шли везде. Предполагалось, что с внешней линии обороны, обозначенной как рубеж «Г», части организованно отойдут на внутреннюю линию обороны, обозначенную как рубеж «А». Но получилось так, что батальоны продолжали сражаться на рубеже «Г», а немец уже атаковал и где-то прорвал рубеж «А». Николай Васильевич подумал, что он не может весь день просидеть на позициях одного батальона. Надо было восстанавливать единство действий УР, хотя бы просто самим собой, своими передвижениями восстанавливать.

«Где же, интересно, Грушевицкий?» – вспомнил о коноводе Кошкин с какой-то тоской. Кажется, мысли были вызваны близким присутствием. Бывает так, что приближается к вам человек, и вы начинаете о нем думать, еще не видя. О таком говорят: легок на помине. Грушевицкий образовался на позиции пулеметного взвода как будто из июльского зноя, раскалившего пыль и дым.

- Товарищ старший батальонный комиссар! Насилу нашел вас!

– А чего ты меня искал? – проорал комиссар. – Ты вроде не в адъютантах у меня.

Коновод не нашелся, что ответить, присел в окопе, сжимая автомат.

- Ладно. Лошади есть?

Грушевицкий оживился.

- Пару как раз привел. Там вон, в кустарнике привязал.

– Есть спокойная кобыла?

– Есть, товарищ старший батальонный комиссар! Я помню, что вы не любитель норовистых. Тихая! Под седлом уже.

Побежали вместе в кустарник. Кошкин с оханьем

взгромоздился в седло. Кобыла и правда была спокойная, ухом не повела.

- Надо нам, товарищ Грушевицкий, на КП 371-го батальона.
- Понятно. Через Большие Салы не пойдем. Там не понять кто. То ли наши, то ли немцы уже. Пойдем напрямки, без проселка. А Темерник вброд.
- Давай, ты вперед.
- Есть!

Коновод бодро тронул своего коня, кобыла Кошкина пристроилась в хвост, и пошли рысью. 371-й батальон стоял справа от 372-го, занимал рубеж «Г» от Буденного до Камышевахи по южному берегу реки Тузлов. Рванули по тылам 371-го. Вокруг все стреляло со всех сторон. А в небе «юнкеры». Конь Грушевицкого был какой-то нервный, дергался от взрывов, только силой и умением коновод держал его на нужном пути. А старая кобыла комиссара была хороша, настоящая военная лошадь. Бежала небыстро, зато на самолеты и бомбы внимания не обращала. Может, она была совсем глухая. Скоро добрались.

Комбат-371 Жемарцев присутствовал на КП вместе с военкомом, у которого была смешная фамилия Кукарека. Кучина на КП не нашлось. Старший политрук Кучин был секретарем партбюро батальона и по идеологической части подчинялся Кошкину. Николай Васильевич спросил: «Что Кучин? На огневой позиции?» Жемарцев покачал головой: отправили организовать подвоз боеприпасов. Уже как три часа назад. И ни боеприпасов, ни Кучина. «Может, убило?» – с надеждой спросил комиссар. «Может, и убило», – промолчали все.

- А что же вы без боеприпасов? Не успели доставить? – спросил Кошкин.
- Успели. Больно хорошо расходятся. Как горячие пирожки. Особенно мины для минометов и бронбойные 76-миллиметровые. Или прикажете бечь снаряды? – усмехнулся Жемарцев.

Комбат плохо знал комиссара. Или дразнил? На втором году войны Кошкин никогда не стал бы экономить боеприпасы. Он всегда просил стрелять. Если в стрелковых подразделениях у красноармейцев за боевой день тратилось по пять патронов на винтовку, Кошкин начинал орать на младших командиров: «Чем занимались? Почему так мало стреляли?» Кошкин на политзанятиях говорил: видишь врага – стреляй. Не видишь – все равно стреляй. Заряжай и стреляй в сторону врага. Наша советская пуля умная, она какого-никакого фрица сама себе найдет, ты, главное, ее не держи в патроне, выпусти на волю, на божий свет. «Что же, палить

в белый свет как в копеечку?» – удивлялись бойцы, привыкшие к другим проповедям. «А ты не думай, что ты тут самый умный и самый главный, – отвечал комиссар. – Ты стреляй, создавай плотный огневой заслон. Убиваешь не ты. Врага убивает точное следование боевым уставам и слаженная работа подразделений. Пулеметно-ружейный огонь заставит противника лечь, прекратить движение. А тут самое время засыпать его сверху минами. Мины тоже не нужно жалеть. Ничего не нужно жалеть. Только жизни своих товарищей».

Кошкин не только агитировал, но и разбивался в лепешку, чтобы обеспечить батальоны достаточным количеством боеприпасов. Отчасти и его стараниями УР имел вдоволь снарядов, мин, патронов. Стреляли без перерыва. Отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны были очень хорошо вооружены, огневых средств хватало. Хватало и боеприпасов к ним. Каждый батальон создавал такой плотности огонь, что немцу казалось, воет полк. Немец к этому не привык. Раньше у русских патроны всегда быстро заканчивались. Потом узнали, что в штурме Ростовского оборонительного района принимали участие восемь дивизий вермахта. Три танковых и пять пехотных. Гарнизон района был весом в две дивизии всего. Но артиллерии и пулеметов было много. Тем и стояли. Если бы еще зенитки!

- Где мой Караульник? – спросил Кошкин.

Старший инструктор по пропаганде Караульник был командирован в 371-й батальон от политотдела УР для укрепления духа.

- С бойцами на передовой. Каменный Брод защищает. Там горячо, – ответил военком Кукарека.
 - Добро, – довольно кивнул комиссар.
- И повернулся к Жемарцеву:
- Мало слышно пулеметов. Дайте заградительный огонь из пулеметов и ПТР по «юнкерам». Патронов не жалейте. Найдем, доставим.

Кошкин вернулся к коноводу, который прятался с лошадьми под высотой. Погнали в Раковку, где устроен был дополнительный склад. По проселочной дороге, надо было быстро, и надо было все равно понять, что с дорогой, потому что везти боеприпасы пришлось бы по ней. Раковка была в рудбеже «А» и занята 9-м батальоном, который еще не вступал в бой. Прискакав к складу, комиссар и коновод увидели, что полным ходом идет эвакуация. Тяжелые деревянные ящики со снарядами, минами, патронами грузили на подводы, подводы вставали вереницей на дорогу к переправе через Аксай. Кошкин, не слезая с кобылы, растолкал красноармейцев-грузчиков, нашел кого-то, кто распорядился,

неожиданно заправски свесился с седла, схватил пыльного старшину за ворот, закричал:

- Кто приказал? Почему отступаем? Куда бежим? Старшина хмуро огрызнулся:
- Все отступают. На левый берег Дона. Устное распоряжение полковника.
- Какого полковника? Имя и фамилия? Должность? Кошкин соскочил с седла и выхватил пистолет.
- Старшина, ничуть не испугавшись, поправил гимнастерку и ответил:
- Не представились. Много вас тут, командиров и комиссаров. И каждый револьвером трясет. Промеж собой разберитесь. Наше дело солдатское. Приказы исполнять.

На помощь Кошкину подоспел Грушевицкий с автоматом наперевес. Комиссар огляделся. Эвакуировался не только склад. Дорога была забита. Отступали, кажется, все. Николай Васильевич присмирел.

- Кучин был? Политрук с 371-го?
- Был какой-то политрук. Спрашивал боеприпасы. Я сказал: у нас эвакуация. Он и ушел.
- Куда ушел?
- Тоже, наверное, эвакуироваться. На Большой Лог ушел с отступающими частями.
- Ясно. Найду – расстреляю. Давай, старшина, заворачивай к нам на фронт несколько подвод.

Отправив боеприпасы, Кошкин не стал возвращаться в 371-й. И за Кучиным в Большой Лог не погнался. Успеется. Вместе с коноводом он поскакал на КП 374-го батальона. 374-й батальон стоял справа от 371-го, занимал северо-восточную часть оборонительного района, от Грушевской до Новочеркаска. На КП была связь со штабом УР. Штаб был в Мясниковане у северной окраины Ростова. Кошкин вкратце доложил ситуацию начальнику штаба, узнал о том, что приказа об отступлении для батальонов УР нет. Надо держаться, прикрывая отход 56-й армии. «А город? – спросил Кошкин. – Кто будет оборонять город, если все отступают и даже боеприпасы вывозят на левый берег?» «Третья линия обороны развернута 9-й дивизией НКВД и 222-й народного ополчения», – спокойно ответил начштаба.

Рядом с КП упала авиабомба. Кошкина подбросило, потрянуло, да и уронило на землю. Немного контузило, но осколками нет, не посеколо. Комиссар внезапно стал слаб. Попробовал встать да уйти, но не смог. Кошкина подхватили и унесли в блиндаж, где он в странном полусне провалялся до вечера. Видел отца и мать: отец плыл, широко распахивая руки, через Терек, а мать стояла над обрывом, выглядывая что-то или кого-то на другом берегу. Когда стемнело, Кошкин уже мог ходить. В ночи ба-

тальяны оставили свои позиции и отступали мимо города Ростова к переправам. На понтоне Кошкин встретил Грушевицкого, непривычного в пешем строю и без лошади в поводу. Коновод плакал, рассказывая комиссару о том, как морская бригада прорывалась в тыл под перекрестным огнем немецкой мотопехоты. Прорывалась, поставив слева и справа от себя лошадей, прячась за живыми телами. Лошади все полегли, убитые и раненые, они страшно хрипели и ржали, и до сих пор еще ржут, две сотни лошадей, цепями и горами сваленные на землю огнем пулеметов.

На другом берегу в толпе красноармейцев Кошкин увидел Кучина, растерянного, безумного. Хотел арестовать. Кучин побежал. Когда Кучин отделился от красноармейцев, Кошкин выстрелил два раза и попал в грудь. Кучин упал. Кошкин подошел и увидел, что ртом у Кучина идут розовые пузыри: видать, пробил легкое. Кошкин выстрелил третий раз в голову, и Кучин затих. «Это ничего, – думал Кошкин, – ничего, Кучин, не горюй. Смерти никакой нет. Есть только жизнь в разнообразных ее проявлениях».

После двух переправ старший батальонный комиссар собрал остатки своих батальонов, выслушал донесения выживших политруков и командиров и составил свое политдонесение в штаб армии, где отметил, что при переправах под бомбежкой и огнем неприятеля, в беспорядке и неразберихе было потеряно больше личного состава и боевого имущества, чем за время боев, за тот горячий июльский день, когда 70-й укрепрайон сдерживал атаку нескольких дивизий вермахта, выбивал танки и косил огнем пулеметов вражескую пехоту. Это донесение, написанное приятным ровным почерком на разлинованной школьной бумаге, до сих пор можно увидеть в Подольском военном архиве, в документах 56-й армии; оно не затерто на сгибах, не истлело, только слегка поблекли синие ученические чернила да пожелтел вырванный из тетрадки лист.



САМАЯ НЕВОЕННАЯ КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



АННА МАТВЕЕВА

Родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Первые публикации появились в середине 90-х годов. Автор множества книг: «Заблудившийся жоней», «Па-де-трау», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» («лучшая

вещь в русской литературе 2001 года», по мнению Дмитрия Быкова), «Небеса», «Голев и Настро», «Найти Татьяну», «Есть!», «Подожди, я умру — и приду», «Девять девяностых», «Завидное чувство Веры Стениной», «Призраки оперы», «Лолотта», «Горожане», «Спрятанные рени». Лауреат премий Lo Stellato (Италия),

журнала «Урал», премии имени Бажова, финалист российских литературных премий — имени Белкина, Юрия Назанова, «Большая книга», «Национальный бестселлер», Бунинской премии и др. Произведения переведены на итальянский, английский, французский, чешский, китайский, финский, польский языки.

Леонид Пантелеев. «Приоткрытая дверь...» («Советский писатель», 1980)

Недавно я наводила порядок в своей домашней библиотеке, сняла с полки книгу Леонида Пантелеева — изданную в 1980 году, хорошо почитанную, с подклеенным корешком, — и снова ухнула в нее, как в детстве. Вообще-то книга Пантелеева — совершенно не детская, но кого и когда это останавливало? В первый раз я сунула в нее нос младшей школьницей, а потом перечитывала снова и снова, цитировала к месту и не к месту, даже и сейчас порой всплывают в памяти короткие заметки из записных книжек писателя, собранные под одной обложкой вместе с его очерками и ответами на читательские письма. Во многом именно благодаря этой книге у меня сформировались первые представления о работе писателя, о ценности тех важных мелочей, из которых она складывается. А еще эта книга — о войне, хотя ни по заглавию, ни по содержанию этого не скажешь. Тяжелый след оставили военные годы в жизни Леонида Пантелеева, одного из авторов культовой «Республики ШКИД»...

Алексей Иванович Еремеев — таким было настоящее имя писателя, вошедшего в историю литературы под полублатным прозвищем (Ленькой Пантелеевым звали легендарного питерского налетчика — и этой кличкой нарекли нового ученика «Шкиды» в память

о его уголовном прошлом). Трудное детство, болезни, голод — обо всем этом в «Приоткрытой двери...» говорится скупно, а вот о безоблачных ранних годах Пантелеев рассказывает подробно и с нежностью. В прелестном рассказе «Лопатка» речь идет о самовольном уходе из дома пятилетнего Леши и его младшего брата Васи — мальчики отправились покупать новую лопатку для ковыряния в песке и, конечно, заблудились, потерялись. Взрослый Вася погибнет на фронте, в годы Великой Отечественной... А его старший брат, не подлежащий призыву из-за слабого здоровья, откажется покидать Ленинград во время блокады. Он будет вести чуть ли не ежедневные заметки о жизни в осажденном городе, станет защищать его, как только умеет. В июле 1942 года полуживого Пантелеева, находящегося в крайней степени истощения, вывезет из Ленинграда в Москву Александр Фадеев — спасет своего коллегу от верной смерти. Но Алексей Иванович будет стремиться домой — и в самом начале 1944 года, еще до снятия блокады, вернется в город на Неве.

Самые лучшие, поистине щемящие строки книги связаны именно с блокадной жизнью.

«Витю Кафтаникова, когда он был маленький, пугали:

— Будешь шалить — отдам в сосисочную.

И он очень боялся, что из него сосиски сделают. А на днях говорит:

- Дурак я был, что боялся.
 - Почему же дурак?
 - А пусть бы отдали. Пока меня смололи бы, я бы сам успел наестся.
- Спохватился, содрогнулся, добавил:
- А может, и убежал бы».

И даже покинув Ленинград, Пантелеев снова и снова возвращался к нему в дневнике: «Вспомнил, как в Ленинграде, в декабре еще кажется, принесла мне мама мою пайку хлеба или утреннюю часть ее. Я лежал больной, читал. Неловко разломил хлеб, и крошка упала на пол. Я не поднял ее, но читая, все время помнил, что предстоит что-то приятное. Что же? Ах, да, могу нагнуться и поднять с пола эту крошку – грамм или полтора черного хлеба!»

Святое отношение к хлебу осталось с Алексеем Ивановичем до конца жизни. Уже спустя много лет после войны он случайно увидел в заграничной поездке, как дети-подростки играют в футбол булкой хлеба – и накинулся на этих футболистов с кулаками. Не смог им простить такого варварства... И в общих столовых мучился, когда видел, как оставляют на тарелках недоеденное...

Но, конечно, эта книга – не только о голоде и страданиях блокадных лет. Она о мужестве ленинградцев, об их бесконечной верности своему городу, о том горьком юморе, которым спасались блокадники.

«Недавно слышал на улице:

- Нас легче похоронить, чем накормить.
- Нет, и похоронить нелегко».

Пантелеев, переживая блокаду, беспощадно фиксировал в своих дневниковых записях и смешное, и подлое, и жуткое. Может быть, именно это подкупает в книге в первую очередь – здесь нет ни грамма фальши.

«Дежурил в первый раз на крыше и увидел город с высоты пятого (вернее, шестого, даже седьмого) этажа. Увидел как бы заново, как бы впервые всю красоту и неповторимость его. Город с его знакомыми до слез, “до припухших железок” зданиями, с Невой, Фонтанкой, каналами, – и все это как на старинной гравюре, на рельефном плане с картушем в верхнем углу. Не мог оторвать глаз от этого видения.

И вдруг подумал:

- “Смотри! Запоминай! Впитывай! Такого уже не будет!”»

Он писал не только о бесстрашных героях и тихих мучениках блокады, но и о жуликах, прохиндеях, откровенных мерзавцах, которых, к сожалению,

тоже хватало. Писал о психических заболеваниях, возникавших тут и там на почве голода.

«Чтобы все рассказать, надо написать книгу. Напишу ли когда-нибудь? И напишут ли когда-нибудь о Ленинграде всю правду? Мне кажется, что теперь, после всего, не всю правду нельзя. Не потому ли так легко, как никогда легко и свободно, пишется и думается?»

И все же «Приоткрытая дверь...» так и не стала *той самой* книгой о Ленинграде. В ней много других – иногда грустных, а чаще смешных – историй, набросков, сюжетов «из письменного стола» разных лет. Впечатления о работе над сценарием для Одесской киностудии, правдивые рассказы о Школе имени Достоевского (и о том, что стало с ее учениками впоследствии), споры с читателями (иногда весьма бурные), поразившие воображение цитаты из чужих книг: здесь материала не на одну, а на десяток книг! Это и в самом деле «приоткрытая дверь» в мастерскую писателя и в личный мир человека, пережившего самое страшное время в истории.



ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ, ИЛИ КРЕЩЕННЫЙ ХАЛХИН-ГОЛОМ

МОНГОЛЬСКИЕ ДОРОГИ И СТРОКИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА



ВАСИЛИЙ АВЧЕННО

Родился в 1980 году в Иркутской области, вырос и живет во Владивостоке. Окончил журфак ДВГУ. Автор документального романа «Правый руль», беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока», фантастической киноповести «Владивосток-3000»

(в соавторстве с Ильей Лагутенко), книги «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и намнях», биографии «Фадеев» в серии «Жизнь замечательных людей», романа «Штормовое предупреждение» (в соавторстве с Андреем Рубановым), «Олег Нуваев. Повесть о нерегламентированном

человеке» (в соавторстве с Аланом Норовашко). Лауреат Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.Н. Арсеньева.

Поэта, прозаика, журналиста Константина Симонova (1915–1979) мы знаем прежде всего как летописца Великой Отечественной. На войне он написал знаменитое «Жди меня, и я вернусь...» и «От Москвы до Бреста...», после войны – эпопею «Живые и мертвые», многочисленные пьесы, сценарии.

Но стал он баталистом еще до Великой Отечественной. Первой горячей точкой 23-летнего Симонova, его боевым крещением стала Монголия. Здесь он нашел свою тему – или, вернее, она нашла его. Захватила, взяла в заложники – оказалось, на всю жизнь.

В отечественной историографии эту короткую, но ожесточенную войну 1939 года у монгольской реки Халхин-Гол называют «необъявленным локальным конфликтом». В японской – «Номонханским инцидентом».

В 1931 году северо-восток Китая оккупировала Япония. Год спустя здесь возникло государство Маньчжоу-го – плацдарм для нападения на Монголию, Китай, СССР. На маньчжурско-советской границе то и дело звучали выстрелы, в Приморье и Приамурье проникали диверсионные группы. В 1937-м, с началом японо-китайской войны, на помощь Китаю отправились советские летчики. Еще годом позже бои с японцами шли уже в Приморье – у озера Хасан.

Война на Халхин-Голе началась 11 мая 1939 года, когда японская кавалерия атаковала монголь-

скую заставу. Через несколько дней в бой вступил 57-й Особый корпус Красной армии, развернутый в Монголии согласно протоколу о взаимопомощи, который Москва и Улан-Батор заключили еще тремя годами раньше. Помогая Монголии, Советский Союз, понятно, защищал и свои рубежи.

Уже в первых боях проявилась недостаточная подготовленность советских войск к местным условиям. Танки на жаре заводились плохо, случались пожары прямо на марше. В небе господствовала японская авиация.

Выводы были сделаны.

Уже 29 мая в Монголию направили небесную элиту Страны Советов – ветеранов Испании и Китая во главе с заместителем начальника ВВС Яковом Смушкевичем.

5 июня в «войлочный городок» Тамцаг-Булак, где располагался штаб 57-го корпуса, прибыл для изучения причин неудач Георгий Жуков – заместитель командующего Белорусским военным округом по кавалерии. Через считанные дни командира корпуса Фекленко сняли с должности за потерю управления и незнание обстановки. Вместо него назначили Жукова. Он первым делом приблизил командный пункт к передовой и укрепил оборону.

В начале июля Жуков выиграл Баян-Цаганское сражение, в котором с обеих сторон участвовало 400 танков и бронемашин, 800 орудий, сотни само-

В отечественной историографии эту короткую, но ожесточенную войну 1939 года у монгольской реки Халхин-Гол называют «необъявленным локальным конфликтом». В японской – «Номонханским инцидентом».

летов – ничего подобного военная практика еще не знала. Началась разработка наступательной операции. Корпус развернули в армейскую группу, из Московского военного округа перебросили танки БТ-7 и БТ-5, в Забайкалье провели частичную мобилизацию...

Тогда-то, в августе 1939 года, на Халхин-Гол и прибыл молодой военкор Симонов.

Он был не единственным и не первым. В Монголии отметились писатели Ставский, Лапин, Хацревин (все трое погибли на Отечественной), Славин... Давиду Ортенбергу, редактировавшему газету «Героическая красноармейская» (на Отечественной он станет редактором «Красной Звезды», где будут сотрудничать тот же Симонов, Эренбург, Бек, Сурков, Твардовский...), нужен был поэт – кто сказал, что музы молчат, когда говорят пушки? Политуправление РККА предложило кандидатуру Симонова – автора романтических стихов об Испании, патриотических поэм «Ледовое побоище» и «Суворов», стихов об обороне Камчатки в 1854 году.

Вот что, кстати, он писал в 1937-м, даже до Хасана:

*Потом на седьмом пограничном знаке
Отрывисто таявал чужой пулемет –
Желтые люди в мундирах хаки
Кричали «банзай», бежали вперед...*

Это не пророчество – прогноз. Дальний Восток был передним краем, здесь зрела большая война. Не случайно Аркадий Гайдар именно в Хабаровске, где он работал в 1932 году, начал дышащую тревогой «Военную тайну».

Симонов селится в юрте войлочного городка. Получает пистолет ТТ, который еще не умеет ни разбирать, ни чистить. Впервые попадает под бомбежку: «Испугался, заметался, попал не в шель, а в какую-то воронку...» Впервые видит убитых: «Проснулся до рассвета и увидел, что устроился неудачно: то, что я принял за кочку, были ноги полузасыпанного землей японского солдата; от трупа шел запах; может быть, от него я и проснулся».

Решающее наступление советско-монгольских войск началось 20 августа. Через шесть дней Жуков приступил к дроблению и уничтожению окруженной японской армии. Симонов вспоминал: «Мы пошли по окопам, буквально забитым телами убитых японцев. Я никогда потом не видел такого количества трупов в окопах». Это написал человек, уже побывавший на всех фронтах Отечественной.

Большими последствиями маленькой войны на Халхин-Голе можно считать отказ Японии от нападения на СССР в 1941 году и восхождение маршальской звезды Жукова – лучшего военачальника Второй мировой. А благодарная Монголия после нападения Гитлера на СССР первой начала помогать Советскому Союзу – лошадьми, мясом, шерстью...

Симонов за полтора монгольских месяца опубликовал в газете 14 стихотворений. В них слышны киплинговские мотивы, и не случайно: поэт еще раньше перелагал Киплинга на русский. Потом, помудрев и насмотревшись, он признается: «Все это в 41-м году вдруг показалось далеким, маленьким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчишеский бас. А в 39-м, там, на Халхин-Голе, я еще любил все стихи Киплинга!»

В 1940 году выходят новые халхин-гольские циклы Симонова – «Письма домой» и «Соседям по юрте», стихотворение «Транссибирский экспресс», поэма «Далеко на Востоке»...

Интересно, что к японцам Симонов относился с уважением:

*Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр – тем больше наша слава.*

Не так потом будет писать он о немцах:

*Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!*

Первый роман Симонова – «Товарищи по оружию» (1952) – о Халхин-Голе. Выходит, тема не отпускала. Даже четыре года Отечественной не заслонили ту восточную войну – первую в его жизни. Прежде чем

браться за эпос Великой Отечественной, он хотел разделаться с монгольским материалом. И правда: кто, если не он?

«Товарищи по оружию» (название отсылает сразу к Ремарку и Хемингуэю) – едва ли не единственное художественное свидетельство о полузабытой войне на Халхин-Голе. Этот геополитический, как книги Юлиана Семенова о Штирлице, роман рос из записок Симонова. Поэтому он публицистичен, по-газетному хроникален, с репортажным эффектом присутствия: «За три дня марша в бригаде уже десять человек пострадало от тепловых ударов. Один башенный стрелок умер... и был похоронен в степи... Травянистая пустыня сменялась то солончаками, то полосами сыпучих барханов. Песок был всюду: хрустел на зубах, забирался в нос, царапал горло. Иногда люди так подолгу и так натужно кашляли, что, казалось, песок попал к ним в легкие и при дыхании шуршит и поскрипывает там. Буксовали гусеницы, перегревались моторы, раскаленный воздух струился над башнями».

А чего стоят живые детали: бамбуковые шесты с минами на концах, которые японцы подсовывают под танки; горящие зеленые спиральки – трофейное средство от комаров... Среди персонажей романа – не названный по фамилии, но узнаваемый комкор Жуков. Завершается книга описанием кровавого неба над Хинганом – мрачное предзнаменование скорой большой войны.

Потом были четыре года Отечественной. В 1942 году старший батальонный комиссар Симонов получает орден Красного Знамени. В 1943-м – погоны подполковника.

В 1946-м отправляется в разгромленную Японию. Бродит по руинам Хиросимы и Нагасаки, пишет «Рассказы о японском искусстве» – не столько победитель, сколько очарованный странник.

В 1949-м едет в Китай, где как раз завершается Гражданская война, учреждается КНР, к власти приходит Мао.

Весной 1969-го, когда дружбу Пекина и Москвы сменила вражда, отправляется в Приморье – на залитый кровью остров Даманский.

В том же году издает воспоминания «Далеко на Востоке. Халхин-гольские записки».

Беседует с полководцами Великой Отечественной.

А потом будет еще цикл «Вьетнам, зима семидесятого»...

Баталист, впервые увидевший войну в 1939 году, на дембель так и не ушел.

Юность №9
Сентябрь 2020

Тема номера:
Таврида

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ: «ПИШУЩИЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ПАТОЛОГОАНАТОМ, ВСКРЫВАЮЩИЙ САМ СЕБЯ»



ЕГОР АППОЛОНОВ
Журналист, автор книги
«Пиши рьяно, редактируй
резво» («Альпина Паблшер»,
2019), создатель литератур-
ного проента «Хемингуэй
позвонит».

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
Поэт, прозаик и эссеист.
Родился в 1968 году в Москве.
Автор множества книг стихов
и прозы.

Егор Апполонов поговорил с Дмитрием Воденниковым о поэзии стен, писательской тошноте, бессмертии цифровых поэтов, смерти поэтов, живущих в ожидании последних стихов, заклинаниях, отчаянии, нейрофизиологии мозга и складках времени.

- Знаете, с чего я хочу начать? Вы как-то сказали, что высшая поэзия – это поэзия стен. Мне бы хотелось узнать признаки этой поэзии, какая она сейчас. Эдакий Бенкси в словах, Бенкси в лингвистической и ритмической графике?
- Я не мог сказать, что это высшая поэзия. Я сказал, что и поэзия стен тоже в том числе поэзия. Высшая поэзия – это наши сны. То, что мы не можем перевести в слова. Я, как вы знаете, уже давно не пишу. Стихи ушли. Я шел пешком на это интервью (и прошел к часу дня свои ежедневно запланированные 15 километров) и слушал попсовые песенки – такие патетические и роковые. И вдруг я услышал песню, даже стыдно сказать какую (она такая – с набирающим финалом, со звуковыми провалами в середине), и подумал, что в этих провалах – стихотворение, которое я хочу написать. Поэтому да – высшая поэзия, это сны, стихи, которые не написаны. Про стены я так не мог сказать. Я сказал, что там тоже есть поэзия.
- Именно так вы и сказали: «Для меня сейчас высшая поэзия – это поэзия стен» – материал «Поэт большое животное». Из интервью радио «Свобода» от 19 апреля 2019 года.
- Я вам на это – другую цитату. Не спорьте с человеком, который вас сделает, как ребенка. Я говорил о том, что по стенам иногда можно гадать. На стенах действительно можно найти стихотворный фрагмент. На стенах я даже находил свои стихи. Все ближе и ближе к дому. Но потом я обиделся, что они перестали появляться. Человек странное существо. Есть маленький такой перешеек, недалеко от Китай-города, где все время пишут стихи. Бродский, Маяковский, Есенин, мне неизвестные группы... Поэзия стен – это поэзия, которая просто выхватывает тебя проходящего и, вдруг, дергает за лацкан,

- рукав, за шиворот. В этом смысле, может быть, она и высшая. Потому что поэзия – это то, что должно тебя дергать.
- **Вы сказали сейчас «стихи», а иногда говорите «стишки». А есть ли какая-то градация между стишками и стихами?**
 - Есть, наверное. Но по какой-то традиции, надо сказать, очень богатой, я называю стихи стишками. Только провинциальные дамы обычно обижаются, когда стихотворение называют стишками. Все великие совсем не боялись этого. Наверное, градация есть. Человек, который боится назвать стишки стишками, как правило, пишет дерьмо.
 - **А человек, который при жизни называет себя писателем или поэтом, он имеет такое моральное право?**
 - Вы можете назвать себя мужчиной при жизни, или мужчиной вас можно назвать, только когда вы умрете? Сварщик может назвать себя сварщиком?
 - **Но есть другой феномен. Есть люди, которые, не написав ни одной книги, называют себя писателями.**
 - Не издали, может быть, вы имеете в виду. Но ведь они пишут в свои тетрадки, пусть даже графоманские. А если они не пишут от руки, сейчас все летучее, одни сети, та небесная бумага, на которой мы пишем. Как может быть человек писателем и не написать ничего... Это вы загнули.
 - **Он может быть графоманом.**
 - Графоман – это писатель. Это человек, который творит мир. Он странный, кривобокий, косой, вполне возможно, что никому не нужный, потому что скучный, и ты не можешь прорваться дальше. Такая тоска, она возникает после неудачного секса. У мужчин только такое бывает. У женщин – вряд ли. Женщина может притвориться. Мужчина, который не может притвориться, испытывает, как бы это лучше сказать... Кажется, у Кибирова была эта потрясающая строчка. Образ про мужскую тоску, когда у тебя, фигурально говоря, не стоит. Ты читаешь текст, и у тебя возникает эта тоска. Особенно когда тебя попросили прочесть до конца.
 - **Я вам свои стихи прислал. Это вы сейчас закинули камень в мой огород?**
 - Вы нарцисс. Все говорят, что я нарцисс... Не все, что я буду говорить, касается вас. Поэтому вернемся к вопросу: графоман – это, может, лучший писатель. Это писатель без отзыва вообще.
 - **Без комплексов?**
 - Мы не знаем, может быть, он очень сильно мучается. Представляете, он пишет «луна, соловей, любовь»... В тот момент, когда он пишет это и рифмует «луна – зелена», «кровь – любовь», он чувствует неподдельный трепет, настоящее вдохновение. Представляете, какой ужас, когда все это скатывается с тебя, как при мытье под душем: грязные катышки или мыльная пена. Ты читаешь и понимаешь, все мертво. А вы знаете, почему человек, написавший такие строки, дает это читать другим? Потому что думает, что ты силой своего взгляда оживишь текст. Но это невозможно. И тем не менее написавший текст счастлив. Может быть, он самый настоящий писатель, потому что он бьется и бьется в эту дырку, и никогда он не скажет «Я мертвый поэт», потому что он не мертвый, он живет всех живых. Он сдохнет, но перед тем как он сдохнет, напишет две строчки.
 - **Есть ли у такого творца шанс перейти в высшую лигу?**
 - Граф Хвостов же перешел в высшую лигу. Граф Хвостов, который писал свои элегии, оды и что-то еще. Его сделали бессмертным. Кто его только не пародировал – да хоть сам Пушкин. Кажется, Хвостов еще во времена Ломоносова начинал. Или Державин пародировал Хвостова, я могу ошибиться. Но Пушкин точно. Уж закат печальный Хвостова он точно наблю-

Графоман – это писатель. Это человек, который творит мир. Он странный, кривобокий, косой, вполне возможно, что никому не нужный, потому что скучный, и ты не можешь прорваться дальше.

дал. И закат это был совершенно не печальный. Хвостов так же известен, как Пушкин.

- А может быть у такого творца состояние «я ужасно рад, что стихи ушли»?
- Помните, как у Цветаевой «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе. Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь». Графоман – это тот, кто и в сумерках гроба успеет кое-что записать. Вы же помните, насколько эта история документальная... Державин якобы перед смертью записал на грифельной доске начало оды. Помните, да, «То вечности жерлом пожрется. И общей не уйдет судьбы». Он большой поэт, Державин. Но не факт, что он писал бы перед смертью. А настоящий графоман перед смертью напишет последнее свое стихотворение, и это будет победа, потому что поэт не разочаруется, не увидит, что это мертво. Он возьмет и через пять минут умрет. Ему никому не надо будет совать эти стишки, которые он написал. Он будет знать, что он написал великое и умер.
- Получается, что он это все-таки делает для себя.
- Мы все бодем для себя.
- Но есть некое противоречие, потому что люди творческие, пишущие – они же эксгибиционисты, они хотят признания, хотят, чтобы ими восхищались.
- Мне кажется, вы огрубляете. Он не хочет признания, он хочет, чтобы услышали, чтобы поняли. Потому что стихи все-таки живут в ушах. Но не до конца. Представьте себе ситуацию, что я, например, долго писал сложно. Я написал стихотворение, похожее на песню по архитектонике. Там есть какое-то начало, оно передается словами, то, что в музыке передается увертюрой. Но мы сейчас все-таки говорим о песне. Потом возникает первая строфа, вторая строфа, она больше, а третья вообще оркестровка. Представьте, я пишу такое невозможное стихотворение. Там меняется ритм, строфика, меняется АБ, БА. Стихотворение становится в какой-то момент верлибром, а потом опять уходит в рифмованные строфы. Такого вообще никто не писал. Представьте, я его написал. Я писал его месяц. Хорошо, писал неделю. Когда ты пишешь, у тебя мука, изжога просто, тошнота, когда ты до конца не дописал. И вдруг у меня это все освобождается, я дописываю, от руки переписываю в чистовик, кладу и выхожу за электронными сигаретами в магазин, и меня сбивает машина. Так ли это важно, что кто-то потом найдет это стихотворение и опубликует в моем ФБ, если вспомнит мой пароль и вообще додумается об этом. Так ли это важно? Важно, что в этом солнечном пятне августа или сентября лежит на маленьком столе (а у меня маленький столик) листок, исписанный неровным почерком густо-густо. Там есть четыре строчки в начале, потом восемь во второй строфе, потом вдруг что-то такое невозможное, шестнадцать строк, переходящих в верлибр, и потом заканчивается это

И однако ты понимаешь, что когда ты пишешь, над тобой склоняется чье-то прозрачное огромное лицо. Не в том смысле, что это некая метафизическая лампа. Это огромное лицо, и тебе хочется лечь на эту большую грудь или на ладонь. Потому что на грудь – это слишком интимно.

все четырьмя рифмованными строчками. Невозможно это сделать. Невозможное стихотворение. Но оно уже есть в этом мире.

- Вы как-то сказали: «Смерти как таковой нет. Когда она есть, тебя нет, а когда ты есть, нет смерти». Тогда получается, что все это не так уж и важно, раз есть оставшиеся строки?
- Есть твое усилие, которое вошло в этот мир. Твой голос. Не усилие «у-у-у-у!», а усилие, которое сказала «чпок». Почка открылась. Сейчас вы подумаете, что я сумасшедший. Я сейчас скажу ужасное слово «чакра», понимаете. Открылась чакра вселенной, мира. Почка, чакра, мне все равно, что открылось, плевать на это. Почка раскрылась. Она есть. Туда пошел воздух, энергия, там есть озон. Там есть лицо Бога.
- Но вы же атеист?
- Я атеист, да. И однако ты понимаешь, что когда ты пишешь, над тобой склоняется чье-то прозрачное огромное лицо. Не в том смысле, что это некая метафизическая лампа. Это огромное лицо, и тебе хочется лечь на эту большую грудь или на ладонь. Потому что на грудь – это слишком интимно. В общем, ты чувствуешь присутствие Бога. Только это не бог ваших церквей, и не ваших пасх, и не ваших католических рождеств. Это другое. Он безличный. Он не судит людей, он дует тебе в уши. И это самое мощное, что может произойти. Все можно потерять. Помните, Ахматова писала... Меня все время ругают, что я много цитирую Ахматову, потому что многие к ней презрительно относятся, и, может быть, справедливо. Но я цитирую «Отними и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар... и отчизна сияла там в каких-то лучах». У Ахматовой конец всегда невозможно запомнить, потому что это фигня. Но «Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар»... Я, на самом деле, сделал бы по-другому. Это, может быть, звучит чудовищно. Но: «Отними и ребенка, и друга, но оставь только одно – тайный песенный дар».
- Тогда вопрос: вы сказали, что ужасно рады, что стихи ушли.
- Да, рад, я не хочу быть таким людоедом.
- Почему?
- Потому что я вообще хороший человек. Вам это трудно представить. У меня свои червоточины, но я хороший человек. А когда ты чудовище цветочное, воздушное, не важно какое, цветочное, то на самом деле в тебе живет это. Ты все можешь отдать ради цветочков. Ты идешь по Цветному бульвару и думаешь,

что твоя любовь, может быть, самая лучшая в жизни, закончилась. И у тебя просто нет сил. Но ты все равно идешь. Но как только ты думаешь: «А вдруг все закончилось ради того, чтобы я сейчас смог написать что-то совершенно невиданное», – то у тебя появляется смысл. Это людоедская позиция.

- **«Ты убиваешь стихи ради того, чтобы жила любимая женщина?»**
- Попробуй их убить. В том-то и проблема, что ты их убить не можешь. Ты можешь их исправить в книжке. Но потом ты будешь мучиться. Пройдут годы, и ты будешь читать не то, что написано в книжке. Я помню, у меня была такая книжка, когда я просил девочек, которые любят меня, приехать и вклеить в книгу в определенное место измененный текст. Но сейчас я читаю настоящий текст. Стихи побеждают все, стихи переживают всех, стихи съедают всех. И в этом смысле на самом деле ты готов убить любимую женщину, не дай бог, конечно. Но поэт любит женщину, чтобы это было гениальное стихотворение.
- **Вы по-прежнему считаете, что лучшие стихи убьют любого?**
- Да нет. Я думаю, что настоящие стихи вообще не могут никого убить. Они на самом деле про наоборот. Даже если в стихах упоминается то, что человеку не хочется, чтобы было упомянуто про его химиотерапию, например. Не хочется, чтобы в стихотворении прозвучало имя. На самом деле, стихи, наоборот, спасают, вытягивают. Но мы же мелкие испуганные мышки. И мы этого не хотим, чтобы на нас светил прожектор. На стихи светит прожектор. Они таким образом и спасают. Мне кажется, я несу бред.
- **Нет, я так не считаю.**
- А я думаю именно так. Во мне, понимаете, уживается эта странная вещь. Я действительно атеист. Я понимаю, что я умру, а иногда в последнее время мне очень хочется умереть, без всяких «ох» и «ах». Не быть. И я когда понимаю, что я именно *не буду*, я чувствую от этого восторг. Вот смотрите. Взял тромб и оборвался. Боже, какое счастье. Хорошо бы он сейчас оборвался, он бы снял все проблемы, внутренние, личные, какие угодно. У меня, в принципе, все хорошо. Но есть какие-то внутренние нарывы, раны. И я зло, по-детски, думаю, какое одновременное освобождение, какой рикошет идет туда, куда сейчас бьют стихами. Потом я говорю «нет-нет, тьфу». Да, я понимаю, что все сомкнется, оборвется тромб. Я просто закричу. Ну, или там, не тромб, не будем вдаваться в детали. Но тем не менее... Вот ты впал в кому и понимаешь, что больше ничего нет. Запомнишь эту дверь самолетного туалета или же небо. Я хочу умереть на улице. Увидеть небо, сентябрь или, может быть, август. Увидел. И все, и тебя больше нет. И больше ничего нет. Но это не отменяет того, что там не будет того, что происходит в нас, – любви, писания, подвига... Даже наш с вами разговор, который, не в обиду мне и вам будет сказано, просто объективно хороший, но он не вытягивает на мировое событие. Мы же с вами не Анна Ахматова и Исая Берлин, у которых все роковое. Мы с вами... Это прекрасный разговор, но мировая история сейчас не творится. Сейчас, по большому счету, бездарным, прикладным, но тем не менее осмысленным образом я своим своим телом показываю, как развивается стишок. Стишок развивается именно так. Он начинает с какого-то ответа, потом начинает набухать, совершенно забывая первопричину, но потом он должен вернуться. И когда ты пишешь стишок, ты хочешь вернуться к началу, но забываешь, что ты хотел сказать.
- **Но вы же пишете черновики. А мы сейчас, может быть, не просто разговариваем. Вам не кажется, что в локальности таких историй, как наш с вами разговор, и заключается жизнь. Не нужно быть Ахматовой, чтобы творить историю...**
- Да, конечно. Она не только в этом, она в сумме наших движений. наших потерях. Всех наших потерях, всех наших надеждах, всех наших встречах. Да,

конечно, все это сон золотых движений. Кстати, и стихи ведь бывают потрясающие. Но они совершенно не обязательно должны греметь. Это не должны быть северные элегии. Не каждый стихок должен стать «Элегией Джону Донну». Это может быть маленькое короткое стихотворение, но совершенно невероятное.

*Веточка
Ты чего
Чего вы веточки это
А Водички...*

Это Всеволод Некрасов. Это не эпохальное событие. Это не моя мировая слава, которую я меняю на вечер тут.

- **Нужен ли адресат такому стиху? Или он может жить на бумаге, как вы сказали?**
- Адресат... Что это значит?
- **Человек, который прочтет эти строки.**
- Ну вот я когда говорил, что ты дописываешь новое стихотворение и тебя сбивает машина, тебе не очень важен адресат. Но когда ты пишешь, адресат есть. Адресаты... Когда ты пишешь, ты как будто видишь их лица. Эти лица очень расплывчатые. Конечно, это одновременно и очень личный, очень закрытый процесс, тебе плевать на всех. С другой стороны, конечно, это как некое заклинание. Заклинание нельзя читать камням, хотя, может, можно и камням.
- **Заклинание можно читать чему угодно, я так считаю.**
- Значит, можно. Представьте себе человека, замурованного в каменный мешок, знающего, что он здесь сдохнет в муках голода постепенного умирания. Он все равно пишет стихотворение. Для чего он пишет это стихотворение? Можно ли в каменном мешке писать стихотворение? Мы не знаем. С другой стороны, есть люди, которые царапали что-то на стенах своих камер, кто-то там в душегубке, хотя кажется, что там невозможно ничего нацарапать. Но они что-то писали. Человек хочет оставить сообщение. Наверное, так можно написать настоящее стихотворение. А если ты пишешь такое стихотворение только в голове, у тебя ничего нет.
- **Есть некая энергия, которая материализуется в слова.**
- Это удушающая клаустрофобическая история. Ты пишешь стихотворение, которое в твоей голове есть, а твоей головы скоро не будет.
- **Вы как-то сказали, что «стихи лежат в книге, как в гробу». Может, и не нужны книги стихам?**
- Сейчас я думаю, что не очень. Я же это сказал очень давно. Я долго живу, и дело даже не в том, сколько я живу. Понимаете, в XIX веке человек так жил, и его сын так жил, и дед его так жил. Крестьянство, дворянство... Ничего не менялось. У одних людей были рессорные брички, у других – сани. Крепостное право... То-се. А мы-то живем совершенно по-другому. Жизнь ускорилась. Мы живем принципиально иначе, чем наши родители. Даже наши родители живут принципиально иначе, чем жили поколения до них. Я сказал эту фразу еще до интернет-эпохи. Эпоха была, а меня в ней еще не было. На самом деле книга – это очень здорово, это сувенир любви. Это артефакт. При этом стихи в книге не существуют. Они существуют в совершенно другом пространстве, в воздушном пространстве.
- **В воздушном или цифровом?**
- Цифровое и есть воздушное. Вернемся к нашему, уже описанному состоянию, когда тебя сбивает машина. Представьте, как это здорово. Ты пишешь стихотворение, выкладываешь его в «Фейсбук», потому что знаешь, что оно

Да, я считаю, что писатель демиург. Это было позорно, и стыдно, и не модно. И все же люди складывали тексты в ритмические истории. Писатель демиург, потому что он создает свой мир. Потом этот мир врывается в тебя и портит тебе жизнь, потом улучшает и как-то на эту жизнь влияет.

сделано, его трудно не сделать. Выходишь – и тебя сбивает машина. Вот это, может, наверное, самый лучший вариант. Тебе ставят лайки или пишут, как все ужасно написано, а тебе уже никакого дела. Ты лежишь с раскроенной головой. Тебя уже нет. А стихи есть.

- Значит, поэт бессмертен?
- Поэт бессмертен, и графоман бессмертен, мы все бессмертны.
- Вот эта складка времени, в которой мы сейчас живем, может быть, это эпоха небытия? Нас нету, мы все общаемся какими-то цифровыми копиями друг друга.
- Мне кажется, мы только и есть. В нас оказалось столько зла и одновременно столько добра. Мы оказались больше, чем мы есть. Мы сейчас как факиры, как маги общаемся с таким количеством людей, с которым раньше никогда не смогли пообщаться. Сейчас ты можешь делать так, что за твоим столом будет сидеть не два человека, а 200 человек, 2000 человек одновременно. О каком ограничении мы говорим? Мы говорим только о расширении. Мы как вселенная расширяемся.
- А не является ли это девальвацией творчества?
- Нет. Потому что творчество происходит не на людях, не в ветках комментариев и даже не в постели, а в твоей голове. Творчество происходит в самом одиночестве. Когда ты идешь по улице, когда сидишь. Оно происходит. Ты доводишь свои слова до аудитории, любое говно доводишь, свой пьяный бред, который ты с утра стираешь в ужасе, а тебя уже размножили, заскриншотили, увековечили. Все дело в том, что самая гадость и истинное творчество происходят внутри нас, а не снаружи. Все самое лучшее и самое трудное происходит внутри. Мы никак не изменились, мы не ушли от той обезьяны, которая стала иногда попадать в слова. Знаете, моя любимая теория, почему мы стали прямоходящими...
- Почему?
- Одна из причин – из-за любви. Самочки стали выбирать тех самцов, которые больше им приносят любовных взяток. Перед спариванием они приносят слова...
- Груминг в чистом виде.
- Нет, не груминг. Груминг – это почесывание, вычесывание блох. Обезьяны же стали приносить бананы, кокосы, орехи. Они стали приносить любовную взятку. Пока самочка ела, самцы выполняли все эти мужские грубые действия. Для того чтобы это делать, необходимо было освободить передние лапы, и обезьяны встали на ноги. Это не я придумал, не какие-то там британские ученые. Это реальная теория, которая доказана.

- То есть стихи – следствие эволюции. Это и есть любовная взятка?
- Мне кажется, в этой ситуации как раз нет. Меня всегда смущало, когда говорят «стихи пишут для девочек». Это такое плебейское представление. Мне кажется, все наоборот. Мне кажется, стихи зародились как раз в сакральной сфере. Когда обезьяна, или уже *после-обезьяна*, захотела разговаривать с духом, с Богом. С чем-то, с какой-то силой, которая больше ее. Попыталась заговорить ее, вступить в диалог. Сначала начались просто молитвы, обезьяна стала что-то бормотать. Ей казалось, что диалог возникает там, где есть стык слов. Будем считать, что там была рифма. Ритм. Появлялся ритм, нужное сочетание слов. И этой полуобезьяне казалось, что она обладает какой-то силой. Так что я думаю, все это зародилось как раз не из любовного порыва. А от мистического.
- Писатель как демиург?
- Да, я считаю, что писатель демиург. Это было позорно, и стыдно, и не модно. И все же люди складывали тексты в ритмические истории. Писатель демиург, потому что он создает свой мир. Потом этот мир врывается в тебя и портит тебе жизнь, потом улучшает и как-то на эту жизнь влияет. Да, писатель – это определенно демиург.
- Я считаю, что это довольно деструктивно – быть творческим человеком, для самого себя.
- Это разрушительно, более того, как я уже сказал, это людоедская история.
- Людоедская по отношению к себе?
- К себе и к другим тоже, потому что на самом деле ты используешь других людей, сжираешь. И себя тоже. Ты съедаешь себя. Пишущий человек, играющий человек, любой человек, в котором есть эта болезнь что-то делать, – людоед. Считается, что лепить кувшин или горшки из глины крутить – низший жанр. Но нет. Это и есть творчество. Это и есть болезнь.
- Болезнь от рождения? Вопрос в том, с каких лет начинаешь ощущать в себе этот голос, который невозможно заглушить.
- Я думаю, да, это болезнь врожденная. Понятно, что голос сначала бездарный. Но ты его слышишь. Это голос какой-нибудь мышки-норушки, которая говорит «убей кота, иди убей кота». Это не голос Жанны д'Арк, к которой приходила святая Екатерина. Это болезнь. Проблема в том, чтобы эту болезнь сделать гениальной. Это самая большая проблема, которая мне известна.
- А есть, ненавижу эти слова, рецепты, сценарии, как это сделать?
- Есть. Все смеются, когда я такое говорю. А я как старый клоун говорю и говорю. Есть старая цирковая лошадь, которая все бьет копытом, бежит, у нее плюмаж – блям-блям-блям. Вот и я так же, все повторяю одно и то же. Есть рецепт, есть: *прыгнуть-выше-себя*. Сказать себе: я больше, чем я есть. Надо прыгнуть над собой. Знать, что пишешь, и если пишешь дерьмово, переписывать.
- Хемингуэй называл описанное вами состояние внутренним говномером. Детектором дерьма, который говорит: «Это недостаточно хорошо». И ты пытаешься сделать лучше.
- Хорошо сказано. Было бы странно, если бы Хемингуэй сказал иначе. Но я даже не это имею в виду. Понимаете, это когда ты говоришь «Я, человек невнятного дарования, невысокой культуры, слабый, нервный, эгоистичный, по большому счету, мелковатый... Но я все равно буду гением». И вот ты прыгаешь. Просто прыгаешь, зная, что можешь прыгнуть. Зная, что не можешь не прыгнуть.
- Каждый может?

– Возьмем тест на коронавирусную инфекцию. Тебе засовывают палочку в нос – очень глубоко – и берут мазок. Если говорить о гениальности, надо каждого взять и несуществующий определитель гениальности засунуть в нос как можно глубже. Мало кто знает, что тебе засовывают в нос. Ты начинаешь бить руками, как жертва насилия, и плакать. Надо просто делать. Я знаю людей, которые вдруг начинали писать, но потом замолкали. Я не знаю, из-за чего. Тебе никто ничего не гарантирует. У меня были ученики, громко сказано, ученики, я был просто учителем, всерьез с ними работал и видел, как людей прорывает. Одну ученицу прорвало просто гениально. А сейчас она ничего не пишет. Но гораздо больше было людей, которых не прорывало.

– **А что вы делали для того, чтобы прорвать своих учеников?**

– Читал чужие стихи в определенной последовательности и, разбирая их, обсуждал. Это больно, очень больно. Тебя разрывает, ты ведь даже не знал, что такой стишок может быть написан. Или же, допустим, я работал с текстом автора и показывал, что надо убрать для того, чтобы текст освободить. И текст становится живым. Или же я вдруг говорил: попробуйте писать верлибры. Я не считаю, что верлибры – это самое лучшее есть на свете. Но я говорил: «Пишите велибры». Я читаю и вижу, что вы – рыцарь в бумажных латах. Но я могу вырезать одну строфу. Сказать – вот это хорошо. А вокруг – то, что я называю мамалыгой. Вокруг – кукурузное хрючево. Уберите. Отпустите себя, просто скажите конспективно, не в рифмах, что вы пытаетесь сказать.

Автор начинал мне объяснять, что хотел сказать. Я отвечал: «Вы уже говорите стихами, только они нерифмованные». Вставьте между этими, пусть и нерифмованными строчками нужный фрагмент, который все объяснит. Может, они потом и не делали, как я говорю, но какая-то возникала энергия, которая двигала творчество вперед.

Был у меня в учениках один поэт. Я говорил, вы такой странный, такое ощущение, что у вас в подвале заперта девочка, девушка, которую вы пытаете. Такой вы закрытый. Мне кажется, вы маньяк, говорил я. Хватит, перестаньте уже. Ваши стихи как детские машинки... Или паровозики... Пух-пух-пух. Что-то сквозит, по-видимому, это запертая девушка, которая пытается докричаться, но вы не ее пускаете, голос не проходит. Парень послушал. И вдруг стал писать стихи один за другим. Не пишите мне стихи, говорил я ему. Я просто не верю, что можно сесть и написать стихи. Я говорю, мне нужен конспект. И этот парень мне написал конспект, который на самом деле был стихотворением. Понимаете... Поэта нужно расшевелить. Поэта можно и нужно раскачать. Мне говорили: «Вы меня раскачиваете». Это не совсем провокация. Да, в какой-то степени я ломал поэта. Во мне живет Достоевщина, эдакая Настасья Филипповна. Но это «сломать» и называется «раскачать». Вот что ты должен сделать с человеком, который пришел «Научите меня». Я не могу научить, я могу только раскачать.

– **Раскачать и сломать – есть знак равенства между этими словами?**

– Нет, когда ты ломаешь, человек ничего не делает. Когда ты раскачиваешь – это другое. Человек может выбегать с занятий, заливаясь слезами. У меня так выбегали и рыдали. Я утешал, и на следующий семинар эти люди принесли такие тексты, что я подходил, гладил по голове или садился и гладил по руке и говорил: вы сделали невозможное.

– **Вам это зачем?**

– Я не хочу с мертвыми работать. Я не хочу с мертвецами работать, мне не интересно. Я не хочу на кладбище работать.

– **Это к Михаилу Елизарову.**

– Это да. Елизаров очень крутой.

- Вы не так давно сказали, что у него ритмичная, почти поэтическая проза. В чем крутость Елизарова?
- Он на самом деле действительно что-то вскрывает, вскрывает в тебе, в твоей голове, вскрывает в теме жизни, делает тебе больно, страшно и сладко. Это и должен делать настоящий писатель.
- А может, поэт и есть тот самый гробовщик, который все это делает с человеком, вскрывая его нутро?
- Гробовщик – это тот, кто тебя в гроб кладет. Писатель – патологоанатом. Только делает он не с тобой, а с самим собой. В этом парадокс. При этом писатель – это всегда противоречия в тебе самом, когда ты взаимодействуешь с тестом. С одной стороны, писатель тебя ломает, с другой – как бы делает. Все одновременно. Раскачивает, а с другой стороны – настраивает. Порой до истерики.
- Можно ли сказать, что поэзия – это истерическое послание?
- Я бы сказал: истерическое высказывание. В некоторой степени, да. Мне нравится этот термин, но так много истерик вокруг. Все по какому-то поводу истерят. На самом деле, все очень четко, точно выстроено. Истерик – это манипулятор. Истерик – единственный человек, который всегда спокоен. Возьмем упомянутую Настасью Филиппову. Вот истинный истерик. Пришла, красивая такая, все встали. А она – бах – сервиз со стола. Все рыдают. Она – бах – деньги в камин. У всех истерика, а Настасья Филипповна в этот момент ледяно холодна, она центр цунами. Она абсолютно холодна. Это, собственно, и есть истерика. Истерик может рыдать, плакать, но в этот момент отлично помнит, куда, в какой файл надо все перенести. И никогда не выбросится из окна. Истерик может поскользнуться, встанет на подоконник и случайно свалится. Но сам никогда не прыгнет.
- Хладнокровие?
- Конечно. Истерик – абсолютно хладнокровное животное.
- Значит, в таком творчестве есть некий расчет?
- Небесный расчет.
- То есть мы ничего не решаем, за нас решили все наверху...
- Вы не понимаете. Это как небесная логика. Это расчет не ради выгоды. Это расчет ради того, чтобы вокруг крутилось цунами. Смерч. Ты стоишь в сердце этого циклона. И одновременно ты сам – этот смерч. Вокруг тебя люди. Элли со своей собачкой уже улетела в страну Оз, пискнув на прощание. А ты стоишь, хладнокровный такой, и продолжаешь раскручивать этот смерч вокруг себя, понимаете?
- А какие ощущения в этот момент? Кроме хладнокровия, что-то есть? Сожаление? Сочувствие?
- Да, тебе очень жалко людей.
- И что с этим делать?
- Ничего, просто быть циклоном. Потом, когда цунами спадет, подобрать остатки и останки. Сказать «прости меня, прости» и остаться в одиночестве, потому что тебя уже не простят. Некому прощать.
- Вот именно в такие моменты и проявляется деструктивизм творчества?
- Он проявляется в разные моменты. Поэтому я очень рад, что я мертвый поэт. Я просто безумно рад, потому что благодаря тому, что поэт умер, у меня осталась жизнь.
- Вы сказали, что вы научились слышать людей, став мертвым поэтом. Что вы услышали?
- Я услышал истории людей. Чужие истории оказались интереснее моих историй. Люди вообще оказались интереснее меня. Это один из худших уроков,

который я извлек. Я помню из «Покровских ворот», хотя вы эстет, вы никогда не смотрели «Покровских ворот»...

- **Много раз.**
- Там Маргарита Павловна говорит: «Конечно, по-своему, он ярко окрашенный». Помните, про Хоботова. Конечно, поэт, манипулятор, истерик – не много вещи, я предпочитаю хладнокровие Настасьи Филипповны. И все же все сумасшедшие деятели, они, конечно, по-своему ярко окрашены. И вот тут выясняется, что спокойный, настоящий, живой, разумный человек куда интереснее этих вихрей, поверьте мне. Он достойный, настоящий человек. Он живет свою жизнь, он пишет свой текст, он живет настоящей подлинной жизнью. А ты, может, действительно, живешь цветочным вихрем. Ну а может, я неправ. В общем, чужие истории оказались интереснее моих историй.
- **А поэт, который умеет слышать, такое бывает?**
- Ну, наверное. Пушкин же умел слышать. Все-таки Арину Родионовну как-то слушал. Поэты вообще – это те, кто слушает. Впрочем, и я здесь тоже огрубляю. Конечно, я много слышал и слушал. В «Книги рун» по большому счету звучат чужие голоса. Так что, конечно, я умею слушать. Но я огрубляю. Я вообще люблю крайности.
- **Мне нравится такое огрубление.**
- Я не к тому, нравится вам или не нравится. Я к тому, что я – любитель крайностей. Когда я был поэтом, я умел слушать. Приведу пример. Уникальный совершенно момент, когда я написал стихотворение, не самое великое мое стихотворение, но все же... Я написал стихотворение после того, как одна реальная поэтесса на мою просьбу «Напишите мне, как вы рожали ребенка» написала. Ровно через 30 минут у меня было стихотворение. Я просто переложил ее историю в немного разболтанную тоническую систему.
- **Талант находит, гений крадет.**
- Может, и так. Я писал цикл. Я знал, что мне нужно такое. Понял, что в «Книге рун» должны быть руны рождения. Я ничего сам не мог, я же мужчина, не рожал. Но мне нужно было про рождение. И вот я услышал чужую историю и, клянусь, написал стихотворение за полчаса, за час. Ну хорошо, я написал его за день. В общем, отвечая на вопрос, поэт слушает всегда. Поэт, может, единственный, кто слушает хищнически. А сейчас мне нравится слушать людей бескорыстно. Я за ними не слежу.
- **Не возникает соблазна все это перенести, переложить на бумагу?**
- А я переносу. Иногда я сижу с людьми, они что-то мне рассказывают, я говорю «стоп-стоп-стоп», записываю и делаю из этого колонку. У меня есть несколько колонок именно из рассказов людей. Например, одна из лучших моих колонок возникла из беседы с человеком, который в ресторане заказывал все вегетарианское. А говорю, вы вегетарианец? Он говорит, да. В какой-то момент он говорит: «Когда я резал барана...» Я говорю, стоп-стоп, как вы могли резать барана, вы же вегетарианец? И он рассказал потрясающую историю, как его заставили на какой-то экспедиции помочь резать барана. И то, что он описывал, это было гениально, и по поводу разлитой крови, которая собирается в чашку и не должна разлиться в землю. Я говорю, продолжайте-продолжайте. И сделал из этого колонку.
- **Когда вы перестали писать, строфы больше не приходили вам?**
- Я закончил писать в 2011 году, потом чуть не умер по физическим причинам. Сейчас 2020 год. За минувших 9 лет было два раза, когда я обманчиво чувствовал приход стихов. Мне становилось плохо. Представьте – сумерки, я лежу один в полной темноте и думаю: неужели они вернулись? Стихи... Они

- приходят с шумом, гулом, ни с чем не перепутаешь. И вот я думал, опять началось. Это ни с чем несравнимо.
- **Звучит страшно.**
 - Я чуть ли не кричал тогда: «Я не выдержу этого. Ребята, а ле. Остановите землю, я сойду. Я не выдержу».
 - **А если проигнорировать гул?**
 - Гул невозможно проигнорировать. Вы же не можете проигнорировать тошноту. Представьте, что вы отравились. И вы чувствуете, что вам хреново. Поднимается температура. Но самое главное, у вас начинается тошнота. Ты лежишь и думаешь, может, просто показалось. Но нет, не кончилось. И вот ты лежишь, а потом ты в какой-то момент уже склонился над унитазом. Прибежал, тебя вывернуло. Ты вернулся в кровать со словами «какое блаженство». Счастье до изнеможения. Ты говоришь себе: «Наконец-то кончилось. Впереди спокойная ночь». Вот, собственно говоря, как приходят стихи. Только в голову.
 - **То есть это тошнота?**
 - Это тошнота, это токсикоз. Когда они придут, вы все поймете.
 - **Ну хорошо. Вы мертвый поэт. Инерционной тошноты не осталось?**
 - Нет, такого не бывает.
 - **А если два пальца вставить?**
 - Ну, это же другая история.
 - **А где граница?**
 - Слушайте, я столько раз травился, даже сегодня мне было нехорошо, но ты это никогда не перепутаешь с этим гулом тошноты изнутри.
 - **Нет. Но если тебе плохо, можно эту тошноту спровоцировать.**
 - Нельзя это сделать. Нельзя усиленно себя вывернуть наизнанку. Ты можешь плакать, ты можешь разрывать отношения с человеком, ты можешь быть в психозе, но этот психоз будет нестихотворный. Гул, о котором я говорю, ни с чем не перепутать.
 - **Вам сейчас хорошо, что его нет? Или осталась некая тоска?**
 - Мне так плохо сегодня по своим причинам, что я вообще не могу сказать. Были моменты, да, когда я очень сильно отдышал, как поле. Знаете, пашня отдыхает: ее надо либо ничем не засаживать, либо засадить чем-то еще, потому что злаки вытягивают все минералы. Я был как это поле, из которого вытянули все соки.
 - **Поле, покрытое одуванчиками в крови?**
 - В каком-то смысле. Я пашня, которой надо отдохнуть. Впрочем, нет. Сейчас я большое животное. Поэтому я просто не знаю, чего я хочу. Но если колокол в голову опять ударит, если вернется это ужасающее состояние, этот ужасающий гул – все будет оправдано. Абсолютно все. Даже мое вот это не самое классное состояние в моменте «сейчас».
 - **А может быть, это некий этап, для того чтобы колокол снова ударил?**
 - Первым делом я об этом подумал, когда все стало рушиться, первым делом я об этом подумал: стихи еще придут.
 - **То есть вы все-таки ждете?**
 - Это к вопросу о бесчеловечности текста. В тот момент, когда у тебя разбито сердце, ты думаешь, а может, это сердце разбилось не случайно. Тук-тук, а ле, вы не откроете ли эту кассу? Ты думаешь об этом вот так, парадоксально. Это и есть бесчеловечность текста и бесчеловечность стихов.
 - **Но ведь все через надлом в настоящем творчестве? Ну не бывает счастливых поэтов и писателей.**
 - Бывает счастье.
 - **Счастье да. Но встречался ли вам счастливый гениальный поэт?**

- Да, конечно. Я сам был таким счастливым поэтом. Знаете, в какой момент ты чувствуешь себя абсолютно счастливым? Когда ты написал свои стихи, свой новый цикл, а до следующего цикла – еще полгода (потому что опять надо приходить в себя после того, как ты выжал себя стихами, изнурил). И вот хоть ты и выжат, ты счастлив, потому что знаешь, что стихи придут.
- **А откуда это знание?**
- Не знаю. До какого-то момента оно просто было. А потом появилось знание, что стихи ушли. Я очень хорошо помню этот момент. Я был в Питере. Не мог заснуть. Был у друзей. Я своему приятелю: «Пойдем пройдемся». Мы пошли. Я шел, смотрел на картонные (они же очень картонные, когда в них горит свет) питерские здания. Здания-призраки. Я иду и говорю приятелю: «Знаешь, у меня чувство, что рассыпается матрица в голове». И потом матрица и правда рассыпалась. Меня долбануло. Но не в этом сейчас суть. Я знал, что все уходит. Предчувствовать приход стихов – я не уверен, что такое всегда возможно. А как они уходят, ты чувствуешь всегда.
- **Сейчас, по прошествии времени, как-то изменилось ваше ощущение ушедших стихов? Может быть, наконец отпустило? Вообще, каково это – быть мертвым поэтом?**
- Ну конечно, изменилось. Ушли и ушли. А что делать? Понимаете, если бы я был мертвым непонятно кем, то, наверное, у меня было бы ощущение какой-то недостачи, неполноценности. Будто в небесной канцелярии чего-то не доложили, как тигру – мяса. Помните, у Хазанова было такое в советское время: «Тигру в зоопарке мясо не докладывают». Я был гением в некоторых вещах. Со стихами как с любовью. Когда у тебя сложилась реальная жизнь, настоящая с несколькими любовями и самой лучшей последней, ты можешь позволить себе роскошь больше никого не хотеть любить.
- **Но как жить без любви?**
- Ты живешь любовью, потому что она у тебя была. Ты прожил яркую, наполненную любовью жизнь, она состояла из пяти-шести эпизодов, а последняя была самая лучшая. Ты можешь позволить больше ничего не искать. Когда ты пел, как Мария Каллас, ты можешь позволить себе сидеть и не сильно жалеть о том, что ты потерял голос.
- **А разве не возникает уныния, тоски?**
- Наверное, периодически возникает, как и по любви. Но если у тебя было что-то настоящее, огромное, просто огромное, гул, который к тебе шел, запах, который к тебе шел, голос, который к тебе шел, пять гениальных стихотворений, которые ты написал, то ты можешь позволить сидеть себе с удочкой в лаптях и удить рыбу.
- **Это прекрасный сценарий, мне кажется.**
- Сейчас мне все кажется ужасным, потому что мне плохо. Не из-за стихов ушедших, конечно. По другим причинам. Ну а вообще, в принципе, да, это прекрасно.
- **Вы как-то сказали: «Я хочу всего достигать сам». Это ощущение «я хочу сам», оно всегда в вас присутствовало?**
- Знаете, какая у меня в детстве была мечта? Вот все старались достигнуть славы. Купить машину. Чтобы глава государства жал руку, повесил орден на лацкан и тому подобное. А я когда был ребенком (мне было пять-шесть), хотел умереть на площади. Чтобы была огромная площадь народа, а я был бы таким маленьким принцем, которого новый король приговорил к расстрелу. Я шел бы с опущенными глазами, и все бы смотрели на меня.
- **Но это же тщеславие.**
- Это нарциссизм.
- **Но это не то, о чем я спросил. Вот это ощущение «я хочу сам».**
- Я хочу дойти до плахи сам. И чтобы все смотрели.

- **И плевать на страх. Вы все равно пойдете на плаху?**
- Да, я все равно пойду.
- **Из принципа?**
- Да, я хотел гибели. Я всего хочу достигать сам. Это было всегда. Я очень хотел прыгнуть с парашютом, мне хочется испытать эту пугающую высоту. Но я не хочу сзади инструктора, я хочу сам преодолеть свой испуг и прыгнуть в этот открывшийся люк. Я хочу увидеть свою смерть. На каком-то сайте были такие вопросы, как вы хотите умереть: во сне, под наркотиками, напившись вина? Я хочу умереть в сознании. Я помню, тогда несколько людей это поразило. Но я правда хочу
- **А как бы вы не хотели умереть?**
- Я не хочу умирать в унижении, не хочу умирать в духоте. Я хочу умереть на свежем воздухе, на улице, в сознании. Идти, идти. А потом – кольнуло, может быть, секунду, обрывается тромб – и все. Понимаете, я слишком долго болел и сильные муки испытывал, это были реальные муки, как бы пошло это ни прозвучало. Когда придет время умирать, я бы хотел, чтобы все произошло быстро. И чтобы я был в сознании.
- **А страх смерти у вас есть?**
- Сейчас нет. Ну то есть это если мы говорим про легкую смерть. Всю жизнь у Бога надо легкой смерти просить. При этом не хочу, чтобы мой уход был незаметным. Я не хочу кирпича на голову. Я хочу видеть летящую на меня блестящую машину, отблеск солнечного луча на крыле. Я вижу – в замедленной съемке, как машина приближается. Раз, два, три, четыре – эти секунды я хочу прожить, а потом – все, я свободен.
- **То есть вот этот миг за секунду до смерти, он важен для вас?**
- Представьте: автомобиль несется, в крови адреналин. И понимаю, что свободен. Спасибо или не спасибо всем. Не важно. Я хочу последней свободы.
- **Вы вообще фаталист? Ну с точки зрения предопределенности...**
- Я не знаю.
- **Мы сами принимаем решение или мы принимаем решение, потому что у нас нет выбора?**
- Ой, я такой крученный соленый и перченый, сверху полито сгущенным молоком (которое я очень люблю, которое мне нельзя), что я не знаю. Это смешно. Я говорю, я атеист, но я верю в гороскоп. Это само по себе смешно.
- **Нет, не смешно.**
- Вам не смешно, потому что вы очень умный и вас нельзя раскатать.
- **Может, я прикидываюсь.**
- Вот я думаю, что вы прикидываетесь и вас можно раскатать.
- **Попробуйте.**
- Подождите, я мысль закончу. Вот смотрите. Есть такое чешское пирожное – трдельник. В нем самые разные наполнители и, в частности, есть наполнитель «сникерс». То есть в саму трубку из теста наваливают всякую фигню, которая вся вытекает, пачкается и есть все это дико неудобно. Очень много всего в начинке. Разве что перца не хватает. Так вот этот трдельник и есть жизнь. Этот трдельник – я. У меня с предопределенностью вот какие отношения. Я понимаю, что что-то есть. Что сбывается то, что я хочу, то, что я загадываю. Я знаю, что жизнь – трдельник. В этом смысле я фаталист. Но не знаю, с какой начинкой.
- **Есть такая формулировка, что мы обречены на свой мозг.**
- Да, это Черниговская сказала, и ее все затоптали. Люди считают, что она шарлатанка. Но за семь секунд до того, как ты принял решение, каким-то образом доказывается, что решение уже есть.

- Да, сознание его фиксирует.
- Мне очень нравится эта идея.
- Вернемся к поэзии. Есть ли эти семь секунд до того, как все строчки приходят (не обязательно поэзии, может, и прозы), быть может, это и есть момент истинного понимания процесса творения? Вот эти мгновения, когда мы понимаем, что текст уже идет?
- В каком-то смысле. Тут знаете что самое главное? Ошибки и описки и пришедшая на помощь творцу автозамена. Понимаете, иногда самое лучшее, из чего стала расти вторая строфа, – это описка. Ты пишешь «Маша», а у тебя получается «машина».
- Да, я, знаете, боюсь все время написать «Оля» через «б».
- Автозамена... Вот она, черная дыра, через которую открывается портал в другую вселенную. Что-то возникает на странице, до чего я никогда бы не додумался. Смотрите. Ты пишешь. Ты разогнался. И делаешь ошибки. И вот тут нужно очень внимательно следить за описками и калитками, которые открываются в заборе, мимо которого ты идешь. Надо понять, что порой нужно в такую калитку нырнуть. Когда ты в раскачке, это и есть трдельник. Когда к тебе приходит все: настоящие ходы, ложные ходы. Понимание, что ты якобы что-то можешь сделать и одновременно твоя дикая, животная, цветочная, странная страсть, которая тебе позволяет делать текст почти методом тыка или нюха.
- Честно говоря, я не знаю, как пишется стих. Я даже не знаю, как пишутся прозаические тексты. Начинаешь писать текст – и вдруг текст начинает развиваться по своим законам. И делает, не спросив тебя, резкий вираж. Даже в таком вспомогательном жанре, как колонка.
- Но это и есть творчество.
- Да, но значит, от тебя ничего не зависит.
- Мне кажется, что идти на поводу у текста – это признак истинной драматургии. Ты не пытаешься согнуть эту историю в сторону, которая тебе нужна. История сгибает тебя.
- Иногда возникает не тот совершенно вывод, который ты хотел.
- Такие результаты неожиданные, они пугают или удивляют?
- Да по-всякому. Пишешь колонку. Пишешь совсем не так, как запланировал. Приходят твои либеральные друзья и говорят, что ты говно. Приходят твои патриотические друзья и говорят – ты говно. Или скажут, что ты их всех жутко разочаровал, да. Но тексту я верю больше, чем себе. Я писал про Толстого, а потом он приснился мне и рассказал, как закончить текст.
- С нейрофизиологической точки зрения это можно было бы объяснить тем, что мыслительный процесс работает в тот момент, когда мы не бодрствуем, и он решает за нас, принимает решение. Мы идем поэтому как раз на поводу у мозга. Менделеев не придумывал таблицу. Мозг Менделеева собрал сложный интеллектуальный объект, после того как Менделеев загрузил в свою «соковыжималку» все необходимые компоненты.
- Поэтому ты и должен себя раскачать, чтобы было чему приходиться. Чтобы на самом деле тебе пришли твои сны, или оговорки, или подслушанные слова. Ты должен быть не каменным, а пластичным. Ты не должен быть квадратным. Ты не должен быть сейфом, потому что в сейф ничего не войдет. Единственное, что ты можешь, – набрать код. И тогда да – все возникнет. Большинство, мне кажется, так и пишет. Набери 3, 2, ф, н – «жопа», и дверь откроется.
- Я вспоминаю сразу цитату. Мы с Андреем Геласимовым общались, он говорит: «Когда ты пишешь, ты заперт в этой, сука, комнате, и пытаешься разгадать, какой код подобрать, чтобы выйти из этой комнаты, это и есть творчество».

- Отлично, очень хорошо. Смотрите, как интересно получается. Я представляю это, как будто я вхожу, а он как раз наоборот, выходит. Это совершенно разная даже не методика, это разная образность.
- **Вы пытаетесь войти в герметичное пространство.**
- Да, да! Именно. Или же какое-то пространство, которое расширяется. Но я все время ищу портал, чтобы пройти внутрь. А Геласимов, наоборот, хочет выйти. Это потрясающе. Это просто гениально.
- **Сначала дверь найти. Потом подобрать код. И только потом, если код верный, – выйти. Кстати, про Толстого. Вы его назвали главным иудой.**
- Наверное, в статическом вдохновении.
- **Это были не вы, это был текст?**
- Это был текст. И тем не менее. Разве Толстой – не иуда? Хорошо, я разовью. Я правда не помню, что я это сказал.
- **Вы сказали. У меня все записано. Цитирую «Толстой главный иуда русской литературы».**
- О'кей. Отвечу. Разве нет? Сначала он предал свои ранние произведения. Потом занялся школой, потом предал школу, предал Софью Андреевну. Изначально хотел жениться на другой. Весь его путь – это путь предательства и самопредательства. Потом написал гениальную «Войну и мир», «Анну Каренину» и предал их. Отказался от них. Стал писать детские, служебные, «Чем жив человек», «В чем моя вера».
- **А может быть, это не предательство, а что-то еще?**
- Нет, это именно предательство. И оно и делает писателя. Настоящий писатель, он всегда отказывается от себя. Я написал свой «Репейник» – все в восторге. Но отказывался от «Репейника» и понимал, что надо писать другое. Я написал «Трамвай». Снова публичный восторг. Те, кому понравился «Репейник», отреклись от меня. А я отрекся от «Трамвая» и писал что-то еще. Вот так ты и живешь – всю жизнь занимаясь этим предательством.
- **Иногда предательство могут не простить.**
- Его и не прощают. Мне ужасно нравится, кажется, у Борхеса есть рассказ. Поклонники певицы, истинные фанаты, решают ее убить, потому что она уже не та. Она предала. Голос не тот, поет не то. Это по большому счету то, что хотят сделать с тобой люди, которые тебя любят. Они хотят тебя убить.
- **И тем не менее писатель живет отказом от общей судьбы, которая – обман ожиданий.**
- От своей судьбы. Задача – каждый раз отказаться от своей судьбы. Вернемся к Толстому. «Отец Сергей» – это же потрясающая повесть. Это же отказ. Совершенно блестящий офицер, князь, граф, который становится отшельником. Что вообще может быть лучше?
- **А вы не хотите сейчас отшельником стать?**
- Нет. Я не хочу быть отшельником. Хотя... Черт его знает, может, и стану. Сейчас у меня нет на это сил. У меня вообще нет ни на что сил, честно говоря.
- **А чего бы вы хотели сейчас?**
- Сейчас я хочу плакать. Сейчас я хочу счастья. Счастья для людей, которых я люблю.
- **Что для вас счастье?**
- Свобода, знание, что твое решение правильное. Может быть, даже очень больное. Счастье – это стихи. Счастье – это слава, слава влияния. Но не слава, когда «А-а-а!». Счастье – это когда на берег океана выходишь, и волны – тихо так – «шшш...». Я хочу влияния. Я хочу быть гуру.
- **Как, на что повлиять?**
- На пространство и время. Я хочу что-то изменить, что-то транслировать.

- Вам не кажется, что вы уже это сделали?
- Да, но я хочу большего. Я хочу влияния на новом витке. Я хочу еще быть лучше. Я хочу начать новую жизнь, я хочу стать другим.
- А что вам мешает?
- В принципе, уже ничего.
- **Может, вы станете другим?**
- Может, я уже стал другим.
- **В процессе этого разговора?**
- В частности, почему нет. Этого дня, я бы сказал. Этот разговор – инкрустирован в этот день. Наша встреча не случайна.
- **Это к вопросу о последствиях.**
- Может, вы были сегодня моей поддержкой. Моей подставкой.
- **А я бы хотел.**
- Я вам говорил, я очень люблю Линор Горалик, я читал ее детям, студентам. Мне нравится ее этот парафраз модернистический про Федорино горе, переплавленное с бегством евреев из Египта. Мне очень нравится последняя строчка: «Запомните, вы войдете в эту воду, в эту реку, и выйдете из нее совсем другими. И тут река расступилась». Возможно, я этого хочу.
- **Чтобы река расступилась? Значит, все и будет так, как вы хотите.**
- Если вы дадите мне денег.
- **Не все же измеряется деньгами.**
- Ну тогда, может быть, купите еще мне кока-колу.
- **Давайте куплю, почему бы нет. И задам последний, наверное, вопрос, совершенно дурацкий. Но мы должны, как мне кажется, подвести некий итог. Ваши слова: «Надо иметь большой человеческий дар, чтобы попасть в анекдоты». Вы стали стикерами в «Телеграме». Как ваши ощущения?**
- Да, для меня это неожиданно. Кто сделал эти стикеры, я не знаю.
- **Может быть, это и есть следствие, что вы уже оставили какой-то след.**
- Я думаю, что я правда оставил какой-то след. Но мне очень приятно, что я оставил такой комический след. Потому что это правда очень смешно.
- **Не это ли признание и тот камертон, который определяет влияние?**
- Сказать вам правду? В какой-то момент, когда ты становишься стикерами, тебе становится совершенно все равно. Это не лукавство, не игра. Тебе это приятно, тебя очень это веселит, это поглаживает твое тщеславие. Но все это тебе не очень сильно уже интересно.
- **Вы уже вышли из этой комнаты.**
- Я очень благодарен людям, которые делают такие вещи, стикеры. Я бы хотел, чтобы стикеров было больше, но в принципе все это уже не важно.
- **А что сейчас важно? В этом дне, в этом утре, в этом состоянии?**
- Я напишу, хорошо?
- *Берет мой блокнот и пишет от руки: «Я хочу, чтобы люди, которых я люблю, были счастливы. Даже без меня».*





КСЕНИЯ
САВИНА,
СТР. 14



НАТАЛЬЯ
ЛИСИНА,
СТР. 25